

Н О В Ы Й
М И Р

11



1967

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

★

ДВА ТОВАРИЩА

Повесть

В субботний день после работы я получил повестку и уже во вторник, совершенно голый, стоял посреди актового зала педагогического института, где мы, призывники сорок такого-то года рождения, проходили медицинскую комиссию.

За окном было сыро и пасмурно. Порывистый ветер трепал деревья и раскачивал форточку, которая дергалась и скрипела, как бы напоминая о приближении осени.

Очередная врачиха, худая, как жердь, черная, похожая на цыганку, хриплым, прокуренным голосом заставляла меня присесть, повернуться, нагнуться и брезгливо дотрагивалась до моего посиневшего, покрытого «гусиной кожей» тела рукой, обтянутой резиновой желтой перчаткой вроде тех, какими пользуются электрики, имеющие дело с проводами высокого напряжения.

Наконец и эта процедура была закончена, и мне разрешили предстать перед главными членами комиссии, заседавшими за длинным, ничем не покрытым черным столом, на правой ножке которого блестела жестяная блямба с выбитым на ней инвентарным номером.

Их было трое: маленький щуплый старичок в белом халате, белой шапочке, из-под которой вылезали такие же белые волосы, полная женщина, тоже в халате и в шапочке, и молодой майор с золотыми зубами, с красными просветами на зеленых погонах.

Маленький старичок задумчиво поглаживал мизинцем свои коротко подстриженные усики, смотрел в пространство мимо меня, и взгляд его не выражал ничего, кроме невыносимой скуки много прожившего и много повидавшего за свою жизнь человека. С тех пор как он впервые надел халат, перед его взором прошли тысячи, а может быть, десятки тысяч голых людей всех возрастов и рангов, и все они, в сущности, мало чем отличались друг от друга. Он мог под любой одеждой распознать голого человека, поэтому все, что происходило сегодня в этом большом и холдном зале, мало интересовало его.

Другое дело майор. Он смотрел весело на меня, на старичка, на полную врачиху, на всех остальных врачей и на моих товарищей, которые тряслись от холода перед этими врачами. И весь его цветущий веселый вид говорил, что майор — оптимист. В конце концов одни и те же вещи можно видеть по-разному, все зависит от точки зрения. Можно смотреть на лужу и видеть лужу, а можно смотреть на лужу и видеть звезды, которые в ней отражаются. Человек-то, конечно, гол, но если при этом он будет неуклонно соблюдать воинскую дисциплину, выполнять требования уставов, приказы вышестоящих начальников и постоянно

совершенствовать свое воинское мастерство, то сможет стать отличником боевой и политической подготовки, ведь отличники в конце концов тоже голые люди.

Майор только поинтересовался:

— Что это у тебя под левым глазом?

— В темноте на что-то наткнулся,— сказал я.

— На кулак? — спросил майор и подмигнул мне, довольный своей догадливостью.

Что касается женщины, сидевшей между старичком и майором, то она, по-моему, ни о чем таком вовсе не думала и каждый голый индивидуум интересовал ее только в определенном смысле: годен он или не годен к строевой службе.

— Годен к строевой,— сказала она и тут же, потеряв ко мне интерес, перевела взгляд на следующего по очереди, который мелко постукивал зубами у моего затылка.

Майор отметил что-то на лежавшем перед ним листке бумаги и протянул мне повестку:

— Отдашь на завод как основание для расчета. Два дня на расчет, два — на пропой, один — лечить голову после пьянки, в понедельник — отправка. Все.— Майор формулировал свои мысли кратко и четко.

Я пошел в угол, где лежали на скамейке мои вещи, и поспешно натянул на себя холодное белье и все остальное, кроме плаща — плащ я надел в коридоре.

В коридоре шла совершенно иная жизнь, не похожая на ту, что осталась за дверью. На подоконнике, поставив на батарею парового отопления ноги в забрызганных грязью желтых ботинках, сидел мой бывший друг Толик, рослый парень в синей «болонье», с рыжей челкой, вылезшей из-под кепки. Он был, как всегда, в центре внимания.

Многочисленные зрители, обступив Толика, торопливо и дружно докуривали папиросы, а потом отдавали ему. Собрав штук десять или больше окурков, Толик аккуратно оборвал изжеванные мундштуки, а остальное высыпал в широко разинутый рот.

Все восхищенно замерли. Парень в кожаной куртке нагнулся и смотрел Толику прямо в рот, а другой парень, в желтом плаще, присел на корточки и смотрел на Толика снизу. Толик трудолюбиво жевал окурки, они шипели у него во рту и полыхали бледными искрами. Потом он сделал глотательное движение, опять широко раскрыл рот, в нем ничего не было, только язык, зубы и десны почернели от пепла. Наступила минута молчания.

— Потрясающе! — не выдержал парень в желтом плаще.— Первый раз вижу живого человека, который жрет горящие окурки. И не горячо?

— Ничего,— скромно сказал Толик, вытирая платком почерневшие губы,— я привык.

— А ты керосин пить умеешь? — спросил парень в кожаной куртке.

— Не знаю, не пробовал,— уклонился Толик.— Граненый стакан съесть могу. Есть у кого граненый стакан?

Граненого стакана ни у кого не оказалось. Была только железная кружка, прикованная цепью к питьевому бачку, но железо Толик не ел.

Заметив меня, Толик спросил:

— Ты домой?

Я ответил:

— Домой.

— Подожди, пойдем вместе. Я только рот сполосну.

Он побежал в туалет, находившийся в конце коридора.

Я ждать его не стал и пошел один.

Когда пришел, мать в коридоре мыла полы. Она бросила к порогу тряпку, я вытер ноги и прошел в комнату. Мать подняла тряпку и пошла следом за мной.

— Ну что? — спросила она.

— А где бабушка? — спросил я.

— Пошла в магазин за хлебом.

— А,— сказал я и посмотрел на маму.

Она смотрела на меня с тревогой и надеждой на то, что все обошлось.

— Все в порядке,— сказал я беспечно.— Годен к строевой.— И протянул ей повестку.

Мама бросила тряпку на пол, вытерла о халат мокрые руки. Когда она брала повестку, руки ее дрожали. В повестке было написано, что мне, Важнину Валерию Сергеевичу, к такому-то числу необходимо получить на производстве полный расчет, включая двухнедельное пособие, и явиться в райвоенкомат, имея при себе кружку, ложку, смену белья, паспорт и приписное свидетельство. Мать прочла все от первого слова до последнего, а потом села на стул и заплакала.

Я зашел сзади и обнял ее за плечи.

— Мама,— сказал я,— я же не на войну.

Наш город делился на две части — старую, где жили мы, и новую, где мы не жили. Новую чаще всего называли «за Дворцом», потому что на пустыре между старой частью и новой строили некий Дворец, крупнейший, как у нас говорили, в стране. Сначала это должен был быть крупнейший в стране Дворец металлургов в стиле Корбюзье. Дворец был уже почти построен, когда выяснилось, что автор проекта подвержен влиянию западной архитектуры. Ему так намылили шею за этого Корбюзье, что он долго не мог очухаться. Потом наступили новые времена, и автору разрешили вернуться к прерванной работе. Но теперь он был не дурак и на всякий случай пристроил к зданию шестигранные колонны, которые стояли как бы отдельно. Сооружение стало называться Дворец науки и техники, тоже крупнейший в стране. После установки колонн строительство снова законсервировали, под крупнейшим в стране обнаружили крупнейшие подпочвенные воды. Прошло еще несколько лет — куда делись воды, не знаю,— строительство возобновили, но теперь это уже должен был быть крупнейший в Европе Дворец бракосочетания.

Вообще в нашем небольшом городе было много чего крупнейшего. Крупнейший бондарный завод, крупнейший мукомольный комбинат и крупнейшая фабрика мягкой тары, где делали мешки и авоськи. Шестиэтажный дом, в котором мы жили, был когда-то крупнейший в нашем городе, потом появились новые, покрупнее.

Квартира наша была не крупнейшая — она состояла из двух смежных комнат. В ней мы жили троим. Мой отец с нами не жил. Он оставил нас, когда мне было лет шесть или семь, а он работал в редакции городской газеты и учился заочно в Московском университете. Однажды после сессии он привез из Москвы новую жену и ушел от нас. Сам я этого момента не помню, да, собственно говоря, такого момента, наверное, и не было, потому что он несколько раз уходил и возвращался, и и еще неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы мама однажды не сказала:

— Хватит. Либо оставайся здесь, либо там.

Отец остался там. С новой женой Шурой они долго мыкались по частным квартирам и только недавно получили собственную в кооперативе.

Он давно уже ушел из редакции, потому что стал за это время писателем — писал для цирка репризы. Кроме того, с самого детства я слышал, что отец задумал и пишет грандиозный роман, на который возлагает большие надежды.

Сначала он к нам приходил часто — каждое воскресенье. Приносил конфеты, подарки, расспрашивал, как я живу, как учусь. В последнее время, когда я стал уже взрослым, отец бывал у нас реже (я сам к нему ходил иногда), но все-таки бывал и давал матери деньги. Мать деньги брать не хотела (я ведь на себя уже сам зарабатывал), но боялась обидеть отца и брала.

Вообще она, несмотря ни на что, относилась к отцу хорошо и жалела его.

Почти каждый день после работы под надзором мамы и бабушки я готовился к поступлению в институт.

За год до этого я пытался попасть в Московский энергетический, но сделал в сочинении три ошибки (две стилистические и одну грамматическую) и провалился. Был зверский конкурс. Мама была огорчена больше меня.

Она считала, что я по призванию энергетик, наверное, потому, что мне иногда удавалось починить перегоревшие пробки или сменить спираль в утюге. Я в своем призвании не был уверен и по совету Толика поступил работать. К великому мамину неудовольствию.

Моя мама, женщина умная и образованная (она имела высшее экономическое образование и работала старшим нормировщиком на заводе), могла понять все, что угодно.

Она не могла понять одного — моей странной, на ее взгляд, дружбы с Толиком.

— Я понимаю, — говорила она, — когда людей связывают общие интересы или когда они дружат по идейным убеждениям.

Я был бы не прочь дружить с Толиком по идейным убеждениям, но, насколько мне помнится, таковых в ту пору ни у него, ни у меня не было, и мы дружили просто так, потому что были всегда вместе. Мы жили на одной улице, в одном доме, а теперь еще работали на одном заводе и в одном цехе. Так что общие интересы у нас все-таки были.

На нашем заводе делались очень серьезные, очень важные вещи. Настолько важные, что мы сами толком не знали, какие именно. Не то ракеты, не то скафандры — в общем, что-то космическое.

Что касается нас с Толиком, то мы сами важных вещей не делали. Мы делали ящики для этих важных вещей. Мы их сколачивали из досок, и профессия наша называлась «сколотчики». Размеры ящиков считались секретными, потому что, как нам объясняли, по размерам ящиков можно определить размеры изделий, а по размерам изделий их назначение и характер. Мы с Толиком, как ни думали, ничего по этим размерам определить не могли. Толик в глубине души, по-моему, надеялся, что в космос запускают просто ящики как таковые. Поэтому внутри ящиков он иногда писал карандашом свою фамилию «Божко» в расчете на то, что какой-нибудь из них попадет на другую планету и таким образом фамилия эта станет известной не только на земле, но и за ее пределами.

Утро мое начиналось всегда с небольшого скандала. Сначала звонил будильник на стуле возле кровати, но я его выключал. Потом из соседней комнаты на помощь будильнику спешила бабушка, которая, к сожалению, не выключалась.

Маленькая сухонькая старушка в белоснежном передничке, бабушка носила увеличительные очки с толстыми стеклами, делавшими ее глаза большими и страшными.

— Валерик, тебе пора вставать, — сообщала она таким сладким голосом, будто поздравляла меня с днем рождения.

Я лежал, уткнувшись лицом в подушку.

— Валерик, ты слышишь: уже половина восьмого.

Это было сильно преувеличено, потому что будильник с вечера я ставил всегда ровно на семь.

— Валерик, ведь ты не спишь. Я же вижу, что ты притворяешься.

На такие мелкие провокации я не поддавался.

Бабушка переходила к угрозам:

— Валерик, я все равно не уйду, пока ты не встанешь.

Я бы не встал, пока она не уйдет, но тут в комнате появлялась мама с решительным выражением на лице. Не тратя времени на разговоры, она стаскивала с меня одеяло. Дальнейшее сопротивление было бесполезным, я вскакивал и тащился в трусах в уборную.

Там мне тоже очень-то задерживаться не позволяли, приходила мать и грохала по двери кулаком.

— Валера, если ты там решил накуриться, пеняй на себя.

— Катя! — кричала из комнаты бабушка. — Скажи ему, чтобы он, когда выйдет, выключил свет, вчера лампочка горела всю ночь.

В девятнадцать лет меня опекали, как маленького. Ни о каком куренье не могло быть и речи. Не говоря уже о питье. С девушками гулять разрешалось, но не позже чем до половины двенадцатого.

— Если девушка хорошая, — говорила мама, — она поймет, что у тебя дома будут волноваться. Ты можешь привести девушку сюда, и сидите здесь сколько угодно.

Девушки, даже хорошие, предпочитали сидеть с парнями на лавочках или обниматься в подъездах. У меня никакой девушки не было. У меня были только мама и бабушка, которым для полного спокойствия хотелось, чтобы все процессы моей личной жизни протекали на их глазах. В девятнадцать лет я понял, что ограничение свободы личности — тяжкое наказание, даже если оно следствие чьей-то безмерной любви.

Я выходил из дому примерно в половине восьмого, когда народу на улице было уже полно. В такое время все куда-нибудь да торопятся. Кто на работу, кто в детский сад, кто в магазин.

На перекрестке возле сквера маячит долговязая фигура парня в сандалиях на босу ногу, в синей рубашке с закатанными по локоть рукавами. Он один никуда не торопится и стоит просто так, равнодушно глядя на дома, на прохожих, на идущие мимо автомобили. Я подкрадываюсь к парню сзади и хлопаю его по плечу.

— Здорово, Толик!

Толик, вздрогнув от неожиданности, оборачивается, и конопатое лицо его расплывается в глупейшей улыбке.

— Привет! — Он небрежно сует мне руку дощечкой.

Я достаю сигареты, мы садимся на заборчик, ограждающий сквер, курим.

Толик вынимает из кармана шариковый подшипник, вертит его на пальце, лукаво поглядывая на меня. Ему явно хочется, чтобы я спросил, зачем ему этот подшипник, и, хотя меня подшипник совершенно не интересует, я спрашиваю:

— Зачем он тебе?

— А ты догадайся.

— Делать мне нечего — буду еще догадываться.

— На мотороллер,— великодушно объясняет Толик.— Когда куплю, пригодится. Запчастей сейчас днем с огнем не найдешь. Эх, и ездить с тобой будем! — Толик кладет руки на воображаемый руль, наклоняется, словно в крутом вираже.— Вррррр.

Время подходит к восьми, людей на улицах все прибавляется. Машин тоже. Медленно проскрипел автобус, скособоченный на правую сторону: на нем нависло столько народу, что кажется странным, как это он не перевернется. Прогромыхал «МАЗ» с длинным, метров в двадцать, прицепом на многих колесах. За ним, припадая на передние колеса, прошелестела черная «Волга».

— А ты вчера что делал? — спрашивает Толик.

— Ничего. Лежал, книжку читал.

— Что за книжка?

— «Над пропастью во ржи...».

— Про шпионаж?

— Нет, про жизнь.

— А почему ж пропасть?

— Не знаю, не дочитал еще.

— Может, дальше про шпионаж? — надеется Толик.

— Может быть,— говорю я.— Смотри — Козуб едет.

Витька Козуб — наш старый знакомый. Он жил когда-то в нашем доме, и я с ним даже учился вместе в школе, в четвертом классе. Я бы с ним учился и дальше, если бы остался на второй год. За двенадцать лет упорной учебы Козуб кое-как одолел семилетку и четырехмесячные курсы шоферов третьего класса. Теперь он ездит на стареньком сером «ГАЗ-51» с полустершейся надписью на левом борту: «Будьте осторожны на перекрестках!»

Сейчас осторожность надо проявлять больше всего ему самому. И он ее проявляет, потому что заметил нас. Бдитительно вытянув длинную шею, он приближается к перекрестку, выключив скорость.

Мы с Толиком сидим, курим, делаем вид, что ни сам Козуб, ни его машина нас совершенно не интересуют. Мы даже совсем отворачиваемся и смотрим в другую сторону.

Но вот машина вписалась в поворот.

— Пошел! — командует Толик.

На повороте Козуб переключает скорость и дает полный газ, но уже поздно. В два прыжка настигаем мы беззащитную жертву, и вот уже наши пальцы крепко вцепились в задний борт кузова.

Козуб начинает бросать машину из стороны в сторону, мы раскачиваемся, как обезьяны на ветках. Очень трудно удержаться. Но вот я нашел уже точку опоры и одну ногу перекинул в кузов. Толик тоже. А враг не дремлет. Он применяет новый маневр. Визжат тормоза, и в полном соответствии с законом Ньютона наши тела довольно активно стремятся сохранить состояние равномерного прямолинейного движения. Словно две торпеды на параллельных курсах, мы летим вперед, рискуя пробить головами кабину.

— Что, ушиблись? — Козуб вылез на подножку и смотрит на нас через борт с лицемерным сочувствием.

— Ничего.— Толик потирает ушибленное колено.— Валяй дальше.

— Слезайте.

— Как же, слезем,— ухмыляется Толик.

— Хуже будет,— грозит Козуб.

— Куда уж хуже? Милицию позовешь?

— Зачем милицию? Он шайку свою соберет,— говорю я.

— Да уж найду. кого позвать,— обещает Козуб.

Он стал таким храбрым после того, как подружился с Греком. Этой дружбой Козуб гордился, как будто Грек его был академиком или министром. Но Грек не был ни академиком, ни министром — он был просто хулиганом, достаточно, однако, известным в масштабе нашего города.

Козуб при случае намекал нам, что, стоит ему мигнуть Греку, тот из нас сделает блин, но намеки оставались намеками, потому что Грек был чаще всего далеко, а мы близко.

— Последний раз спрашиваю: не слезете?

— Последний раз отвечаю: не слезем.— Толик плюнул мимо Козуба на дорогу.

— Ну, ладно, я вас теперь покатаю.

— Покатай, будь другом,— просит Толик смиренно.

Едем дальше. Посреди кузова подпрыгивает запасное колесо. Мы садимся на колесо и подпрыгиваем с ним вместе.

Проехали железнодорожный переезд, пересекли пустырь с недостроенной громадой Дворца бракосочетания, потом район наших местных Черемушек. Вот стадион «Трудовые резервы», а за ним уже и наша проходная. Я заглянул в кабину через плечо Козуба на щиток приборов.

Мы живем в век больших скоростей. На спидометре семьдесят. Со спидометра я перевожу взгляд на дорогу, потом на Толика. На лице Толика полное уныние. Если мы покинем машину на этой скорости, наши тела слишком долго будут сохранять состояние прямолинейного движения. Тормозить брюхом об асфальт не очень приятно.

— Постучи ему,— предлагает Толик, хотя в действенность этой меры ни на секунду не верит.

Я тоже не верю, но — другого выхода нет — стучу. Сначала тихонько, потом кулаком, потом в это дело включается Толик, мы громим кабину четырьмя кулаками — никакого эффекта. А колеса крутятся, и наше родное сверхважное предприятие осталось далеко позади.

Козуб злорадно смотрит назад, и лицо его вытягивается от злости и удивления. Мы подкатили к заднему борту запаску и пытаемся перевалить ее через борт. Снова визжат тормоза, наступает состояние относительного покоя. Козуб вылезает на подножку.

— Вы что делаете?

— Да вот,— с невинным видом отвечает Толик,— хотим поставить небольшой опыт: сможет колесо ехать отдельно от машины или не сможет.

— Ладно, слезайте.

— Слезать? — Толик смотрит на меня, и я отвечаю ему глазами: ни в коем случае.

— Никак не выходит,— вздыхает Толик и садится на борт.

— Далекое, что ли?

— Далекое.

— Как хотите.— Козуб достает сигарету, закуривает.— У меня по часовой график, я не спешу.

— Тебе хорошо,— завидует Толик.— А вот у нас сдельщина. Помогни, Валера, будь другом,— обращается он ко мне, склоняясь опять над запаской.

Двум человекам сбросить с машины колесо легче, чем одному поднять его на машину. Закон всемирного тяготения. Это знает даже Козуб. Он для этого слишком долго учился.

Произнеся короткую речь, полную негодования и угроз, он разворачивает машину и подвозит нас прямо к проходной.

— Спасибо,— говорит Толик, слезая.— И не забудь, Витя: мы кончаем работу в четыре.

Вплотную к нашему цеху примыкает склад тары из-под оборудования — беспорядочное нагромождение ящиков на большом пространстве. Толик, раскинув руки, лежит на траве под ящиком. Я стою рядом. Курим. Светит солнышко. До начала работы еще минут двадцать. Делать нечего.

— Не хочется на работу идти, — вздыхает Толик. — Ты бы рассказал что-нибудь, что ли?

— Стихи хочешь?

Толик стихи не любит, но тут соглашается.

— Давай стихи.

— Ну, ладно. — Я взбираюсь на один из ящиков. Толик принимает удобную позу, смотрит на меня снизу вверх.

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит один во всей вселенной.

Вокруг, насколько хватает взгляда, стоят эти большие заграничные ящики. Они громоздятся друг на друга и кажутся каким-то странным пустынным городом...

...А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

Ну как? — спрашиваю я.

— Здорово! — искренне говорит Толик. Он залезает на ящик и садится на край, свесив ноги. — И как ты все это помнишь? Не голова, а совет министров. Я даже в школе когда учился, никак эти стихотворения запомнить не мог. Не лезут в голову, да и все. Слушай, а вообще вот эти, наверное, которые стихи пишут... поэты... ничего себе зарабатывают.

— Наверно, ничего, — соглашаюсь я.

— Работа, конечно, не для всякого, — задумчиво говорит он. — Не с нашими головами. А я вот читал в газете: один чужак нашел в пещере... забыл чего нашел. Деньги, что ли. Ты не читал?

— Нет, не читал.

Толик вздыхает.

— Мне бы чего-нибудь такое найти, я б матери платье новое справил. Джерси.

— Да зачем ей джерси?

— Ну так, знаешь. Слушай! А что, если мы с тобой вдруг проваливаемся сквозь землю и перед нами... — он закрывает глаза и мечтательно покачивает головой, — куча золота.

— Да ну тебя, — говорю я. — Нужно тебе это золото.

— А что? — говорит Толик. — Зубы вставил бы.

— Зачем тебе? У тебя и свои хорошие.

— Золотые лучше, — убежденно говорит Толик.

Разговоры мы вели, может, и глупые, но в то время я мало думал об этом.

Я относился к Толику хорошо до тех пор, пока не произошла эта история, которая помогла мне понять и Толика, и себя самого.

Но расскажу по порядку.

Однажды в субботу я сидел в большой комнате за обеденным столом и под надзором мамы готовился к новому поступлению в институт — учил русский язык. Мама лежала у окна на кушетке и читала

«Маленького принца» Экзюпери, который в последнее время стал ее любимым писателем, оттеснив на второй план Ремарка. Все, что писал Экзюпери, казалось маме очень трогательным. В самых трогательных местах она доставала из-под подушки давно уже мокрый платок и плакала тихо, чтобы мне не мешать. Напротив нее за своей швейной машинкой сидела бабушка. Она перешивала мою старую куртку: наверное, думала, что я эту куртку буду еще носить. Треск машинки меня раздражал.

— Мама,— сказал я,— я пойду учить к себе в комнату.

Мама подняла ко мне заплаканное лицо и твердо сказала:

— Нет, ты там ляжешь на кровать.

— Но ты же лежишь,— сказал я.

— Я лежу, потому что отдыхаю. Работаю я всегда сидя.

Мама вытерла слезы и снова уткнулась в книгу, давая понять, что разговор окончен.

Делать было нечего, я снова взялся бубнить эти проклятые правила. Я старался делать это как можно громче, чтобы заглушить раздражавший меня трескот швейной машинки.

— «Слова,— читал я,— нужно переносить по слогам, но при этом нельзя отделять согласную от следующей за ней гласной, например: люб-овь, кров-ать, пет-ух».

Когда я это прочел, бабушка остановила машинку и насторожилась. В воздухе повисла зловещая тишина. Я сразу почувствовал, что что-то произошло, перестал читать и повернул голову к бабушке. Она не отрываясь смотрела на меня и молчала. Я, не зная, что сказать, тоже молчал.

— Что такое «хетуп»? — строго спросила бабушка.

— Хетуп? — переспросил я заискивающе.— Какой хетуп?

— Только что ты сказал «хетуп».

— А-а,— сообразил я. У меня даже отлегло от сердца.— Я сказал не «хетуп», а «петух».

Я думал, что на этом инцидент будет исчерпан, но я забыл, с кем имею дело.

— Валера, ты сказал «хетуп».

— Бабушка, я не говорил «хетуп», я сказал «петух». И даже не сказал, а прочел вот здесь в учебнике: «люб-овь, кров-ать, пет-ух».

— Нет, ты сказал «хетуп».

Мать подняла голову от книжки, посмотрела сперва на бабушку, потом на меня, пытаюсь понять и осмыслить происходящее.

— Что еще за спор? — сурово спросила она.

— А чего ж она говорит,— сказал я,— что я сказал «хетуп».

— Не она, а бабушка,— поправила мать.

— Все равно. Я сказал «петух», «петух», «петух». — Мне было так обидно, что я еле сдерживал себя, чтоб не заплакать.

— Господи! — всплеснула руками бабушка.— Ну зачем же так волноваться? Если ты даже ошибся и сказал «хетуп», в этом же нет ничего...

— Я не ошибался, я сказал «петух».

— Ну, хорошо, пускай я ошиблась, пускай мне послышалось «хетуп», хотя на самом деле ты сказал «петух».

— Да, я сказал «петух».

— Ну и ладно, пожалуйста, успокойся. Ты сказал «петух». — Бабушка пожевала губами и все-таки не сдержалась: — Хотя, если бы ты старался быть объективным...

Этот разговор мог кончиться плохо, но в это время в коридоре раздался звонок, и я побежал открывать.

За дверью стоял Толик. Он был в коричневом, сшитом на заказ костюме, в белой рубашке с галстуком. Сбоку на ремешке, перекинутом через плечо, болтался транзисторный приемник.

— Вытирай ноги и проходи,— сказал я.

Толик нагнулся и стал развязывать шнурки на ботинках.

Из комнаты выглянула мама.

— Толя, что за глупости? — сказала она.— Зачем ты снимаешь ботинки? Вытри ноги, и все.

— Ничего, ничего,— сказал Толик.

Он снял ботинки и, подойдя к маме, протянул ей руку.

— Здравствуйте, Екатерина Васильевна.

У него были черные эластичные носки с красной полоской.

Он вошел в комнату, огляделся, подошел к бабушке и, протянув руку ей, сказал громко:

— Здравствуйте, бабушка.

— Здравствуй, Толя,— сказала бабушка и посмотрела на него с нескрываемым восхищением.— Ты куда это так вырядился?

— Так,— сказал Толик,— просто переоделся.

— Садись,— сказала мама, подвигая к нему стул.

— Благодарю.— Толик подтянул штанины, чтоб не вытягивались, положил руки сначала на стол, потом его смутила белая скатерть, он снял руки со стола и положил на колени.

— Толя,— спросила бабушка.— Кто тебе гладит костюм?

— Да я, соответственно, сам глажу.

— Почему соответственно? — спросила мама.

— Просто слово такое,— пояснил Толик.

— Какой аккуратный мальчик,— вздохнула с завистью бабушка.— Ты, наверное, в брюках в постель не ложишься?

Толик смущенно кашлянул, шмыгнув носом и посмотрел на меня.

— Да ведь вообще не положено.

— Бабушка хочет сказать,— объяснил я,— что бывают счастливые люди, у которых такие вот аккуратные внуки.

Толик сидел красный от смущения и от галстука, давившего шею. Он не знал, как реагировать на мои слова, и промолчал.

— Чаю хочешь с вареньем? — спросила мама.

— Благодарю,— сказал Толик,— что-то не хочется.— Он многозначительно посмотрел на меня, я понял, что светские манеры даются ему с трудом.

— Сейчас пойдем,— сказал я.

— Куда это вы собрались? — спросила мама.

— Надо подышать воздухом.

Толик солидно кашлянул.

— Опять будете шляться до часу ночи,— сказала мама.

— Ладно,— сказал я,— никуда не денемся.

Я пошел в другую комнату и переоделся. Конечно, костюм мой был не так уж выглажен, но какие-то складки еще оставались.

Когда я вошел, бабушка посмотрела на меня, потом на Толика и вздохнула. Сравнение было явно не в мою пользу.

— Пошли, что ли,— сказал я.

Толик чинно встал, подошел к маме, протянул руку.

— До свиданья, Екатерина Васильевна,— сказал он громко.

Потом подошел к бабушке и протянул руку ей.

— До свиданья, бабушка,— сказал он еще громче.

Я пропустил его вперед. Пока Толик зашнуровывал ботинки, мама стояла в дверях комнаты и, насмешливо усмехаясь, смотрела на нас обоих.

Выйдя на лестницу, Толик облегченно вздохнул и снова стал самим собой. На площадке он подошел и посмотрел вниз.

— Слушай, а ты бы отсюда за миллион рублей прыгнул?

Я посмотрел вниз и отказался немедленно.

— А я бы, пожалуй, прыгнул,— сказал Толик.

— И ноги сломал бы.

— Зато миллион рублей,— сказал Толик.— Знаешь, я на эти деньги чего купил бы?

— Костыли,— сказал я.

— Зачем костыли? — обиделся Толик.— Можно «Москвич» с ручным управлением.

Мы вышли на улицу. Вечерело.

Солнце еще не зашло, но его не было видно. Оно просто пряталось где-то за домами, и его лучи лежали под крышами самых высоких зданий. Мы шли в сторону парка.

— Слушай,— неожиданно спросил Толик,— у тебя отец — хороший человек?

Вопрос был сложный. У меня самого отношение к нему было смутное. Точнее, я к отцу своему относился по-разному. Но одно дело, что думал я сам по этому поводу, и другое дело, что отвечал другим.

— Хороший,— сказал я, и это была правда, потому что отец мой был, может быть, и не совсем хорошим, но скорее хорошим, чем плохим.

— А почему же он мать твою бросил?

— Он не бросил, просто они не сошлись характерами.

— А чего там сходиться-то? — усомнился Толик.— Чего сходиться? У меня вот отец с кем хочешь сойдется характерами. Мать ему чего не так скажет, он ей как врежет, она летит из угла в угол.

Отец Толика дядя Федя работал в бане пространщиком. Что значит это слово — я не выяснил до сих пор, знаю только, что дядя Федя сторожил в бане одежду клиентов, подавал желающим полотенце, похлопывал по спине и приносил из буфета пиво в стеклянных кружках. За это он получал в зависимости от объема услуг и щедрости клиента десять — пятнадцать копеек. Некоторые давали больше, но таких было мало. Он работал через день по двенадцать часов, но готов был работать и каждый день, если бы разрешили, не из любви к профессии, а из-за этих самых гривенников, которых к концу смены набиралось довольно много. Мать Толика несла эту мелочь в магазин к знакомой кассирше и обменивала на бумажки, а когда бумажек набиралось достаточно, дядя Федя шел в сберкассу и делал очередной вклад.

— А много у твоего отца денег? — спросил я у Толика.

— Много,— вздохнул Толик.— Я точно не знаю, но там, наверное, машины на три уже наберется. И все мало ему. Я получку принесу, он все до копейки пересчитает и по расчетной книжке проверит. А чуть недосчитается — сразу по шее.

— А как же ты на мотороллер собираешь? — спросил я.

— Выкручиваюсь,— сказал Толик.— Я говорю, что мастеру даю по десятке с каждой получки... Слушай,— оживился он,— а ты своего отца не спрашивал, сколько вот поэты или писатели зарабатывают?

— Не спрашивал. А зачем тебе?

— Так просто. Мне один чудак говорил: рубль за строчку. Это можно знаешь сколько строчек написать.

— Сколько? — спросил я.

— Много,— ответил Толик и остановился.— Что это там такое?

На спортплощадке во дворе красного кирпичного здания школы возле турника толпились какие-то люди.

— Может, соревнования? — предположил я.

— Не похоже, — усомнился Толик. — Пошли, поглядим.

Мы подошли ближе. Там к турнику было подвешено какое-то сооружение из арматурной проволоки, как я потом понял — макет купола парашюта. От купола шли стропы, соединявшиеся у брезентовых лямок с блестящими замками. Возле турника толпилось человек пятнадцать ребят нашего с Толиком возраста. Рядом на параллельных брусках возвышался худощавый человек лет тридцати (по нашим тогдашним представлениям, пожилой), в кожаной куртке на молниях и в старой летной фуражке с облезлой кокардой. К куртке у него был прикручен большой значок с изображением белого парашюта на синем фоне. Наискось через значок шла блестящая металлическая цифра «600», а на цепочке болтался еще треугольничек, и там тоже было выцарапано какое-то число, не то «15», не то «45» — я точно не разглядел.

Человек этот сидел на одном бруске и упирался левой ногой в противоположную стойку, удерживая равновесие. Мы с Толиком сразу догадались, что это инструктор по парашютному делу. Догадаться было, конечно, нетрудно.

Держа в руках авторучку и раскрытый блокнот, инструктор следил за ребятами, которые поочередно влезали в лямки, разворачивались влево, вправо и прыгивали на землю, уступая место следующим по очереди.

— Следующий! — выкрикивал инструктор и отмечал в блокноте очередную фамилию.

Когда мы подошли, в лямках болтался высокий парень в клетчатой ковбойке. У него были очень длинные ноги, и парень поднимал их, чтобы они не волочились по земле.

— Развернись влево, — скомандовал инструктор.

Парень положил на грудь правую руку, потом левую, потом, подумав, поменял их местами, потянул лямки на себя, и его длинное неуклюжее тело послушно повернулось влево.

— Вправо, — сказал инструктор. — Да побыстрей. Если ты и в воздухе будешь так долго соображать, тебе до самой земли времени не хватит.

— Что это вы делаете? — шепотом спросил Толик у остронского парня в синем берете.

— Тренируемся, — тоже шепотом ответил парень. — Прыгать с парашютом будем.

— С турника, что ли? — насмешливо спросил Толик.

— Почему ж с турника? С самолета. Нас от военкомата направили, — сказал парень и пошел к турнику, потому что подошла его очередь.

Пока он разворачивался вправо и влево, Толик зашел сбоку и внимательно наблюдал. Парень расстегнул лямки и сполз на землю.

— Следующий, — сказал инструктор.

Следующих не оказалось.

— Все, что ли? — спросил инструктор.

— Как все? А я? — неожиданно сказал Толик.

— А чего ж ты стоишь? — рассердился инструктор.

— Задумался, — объяснил Толик.

Он стащил с себя транзистор, сунул его мне и вышел вперед. Влез в эти лямки, застегнул замки и стал болтать ногами, ожидая указаний инструктора.

— Не болтай ногами, — строго сказал инструктор. — Это тебе не качели. Развернись влево.

Толик решительно потянул за обе лямки, но у него почему-то ничего не получилось, и он стал раскачиваться, пытаясь развернуться.

— Ты что? — закричал инструктор. — Не знаешь, как разворачиваться?

— Забыл, — сказал Толик, глядя на инструктора.

— Если забыл, надо спросить. В воздухе спрашивать будет некого. Положи левую руку на грудь. Сверху правую. Берись за лямки. Тяни. Теперь вправо.

Вправо у Толика получилось совсем хорошо.

— Молодец, — похвалил инструктор. — Слезай. Как фамилия?

— Божко, — четко сказал Толик.

— Божко? Что-то я такой фамилии не помню.

— Пропустили, — нагло сказал Толик.

— Да? — Инструктор покорно пожал плечами и отметил что-то в блокноте. — Может быть. Есть еще кто-нибудь?

Толик стал мне усиленно подмигивать и призывать знаками последовать его примеру, и мне очень хотелось поступить так же, как он, но я не решился.

Инструктор спрятал блокнот и ручку в карман и спрыгнул на землю.

— Сегодня в три часа ночи чтобы все были на бульваре у кинотеатра «Восход». Ровно в три придет машина, поедem прыгать. Ясно?

— Ясно! — нестройным хором закричали парашютисты.

— Можете расходиться, — сказал инструктор и первым направился к выходу.

Мы вышли на улицу. Я отдал Толику транзистор, он его на плечо вешать не стал, а держал в руках и размахивал. Потом он его включил и стал размахивать еще больше. Передавали Эдиту Пьеху по заявкам передовиков Саратовской области.

— Выключи ты его, — попросил я. Настроение у меня было паршивое.

Толик посмотрел на меня и все понял.

— Слышь, Валера, ты не огорчайся, — сказал он. — Утром придем и вместе прыгнем.

— Как же, прыгнем, — сказал я. — Тебя-то он в блокнот записал, а меня нет.

— А чего ж ты растерялся? — сказал Толик. — Я же тебе подмигивал. В общем, придем, а там видно будет. Ему все равно, есть ты в списке или нет. Ты думаешь, он мне поверил, когда я сказал: пропустили? Да ему лишь бы план. Понял? Я это точно знаю.

В этом смысле Толик действительно знал больше меня. И умел многое из того, чего я не умел.

Мы идем по парку. Все аллеи запружены бесчисленными толпами желающих убить длинный субботний вечер.

Уже стемнело. Включили электричество. В дальнем конце парка грянула музыка — начались танцы. Мы прошли из конца в конец парка, постояли у танцплощадки, попили из автомата воды с мандариновым сиропом, заглянули в Зеленый театр, где шел концерт художественной самодеятельности гарнизонного Дома офицеров.

Идем дальше. Дошли до главного входа, опять повернули в сторону танцплощадки, но уже по другой аллее, по параллельной. Толик идет чуть впереди, заложив руки в карманы, раздвигая прохожих плечом. А меня все затирают, оттесняют от Толика, я отстаю, потом догоняю. Толик оборачивается, замедляет шаг, поджидая.

— Что ты все отстаешь? — ворчит он. — Не можешь ходить по-человечески? Будешь всем уступать дорогу — далеко не уйдешь.

На улице, в парке, везде, где много народу, Толик чувствует себя как рыба в воде. Он идет, уверенно выбрасывая вперед длинные ноги,

вертит головой, здоровается с какими-то людьми, которых я даже не успеваю заметить, и обращает внимание на всех девушек, идущих нам навстречу. И все они, или почти все, поражают воображение Толика. Вот он схватил меня за руку.

— Гляди, вон кадришка какая идет.

«Кадришками» по моде нашего времени Толик называл всех девчонков. Были у него в словаре и другие названия — «крали», «курочки» или просто «бабы».

Я не чувствую в себе достаточного интереса, и мне очень стыдно. Мне кажется, что во мне чего-то не хватает, раз я не испытываю при этом такого же восторга, как Толик. Мне не хочется казаться в его глазах дураком, и, вызывая в себе ложное возбуждение, я кричу с предельной заинтересованностью:

— Где кадришка?

— Пршла уже,— сердится Толик.— Пока ты тут чухался...

Не успев договорить фразы, он кидается за обогнавшей нас девицей на длинных, словно ходули, ногах:

— Девушка, а девушка, вы не из баскетбольной команды?

— Иди ты к...— не оборачиваясь, ответила девушка.

Толик вернулся сконфуженный.

— Что она тебе сказала?— спросил я.

— Да ничего,— сказал Толик.— Дура длинная.

Идем дальше. Толик сопит, молчит, переживая только что перенесенный позор.

— Толик,— спрашиваю я,— у тебя есть идейные убеждения?

— Чего?— удивился Толик.

— Я спрашиваю: у тебя есть идейные убеждения?

— Маленько есть,— подумав, ответил Толик.

— А какие у тебя убеждения?

— Разные,— отмахнулся Толик и опять насторожился.— Пошли.

— Куда?— не понял я.

— Потом поймешь.

Он схватил меня за руку, увлекая вперед. Мы почти побежали. Свернули на боковую безлюдную аллею. Впереди нас шли две девушки в красных платьях с красными сумочками в руках.

— Понял— куда?— сказал Толик, сбавляя ход; теперь мы шли с той же скоростью, что и девушки.— Давай что-нибудь говори.

— А что говорить?— спросил я.

— Неважно что, лишь бы громко.— И тут же повысил голос:— Ничего себе крали идут, а?

— Ничего,— сказал я еле слышно.

— Громче,— шепнул Толик и снова во весь голос:— Тебе какая больше нравится?— И, не дождавшись моего ответа, почти прокричал:— Мне крайняя... Что ж ты молчишь?— снова прошептал он.

Видно, поняв, что со мной каши не сварить, он стал вести игру сам.

— Девушки, вы здешние?— спросил он.

Девушки молча свернули направо.

— Гляди,— громко восхитился Толик,— попутчицы.

Мы свернули следом за девушками. Тогда они неожиданно развернулись и пошли в обратную сторону.

— Куда мы, туда и они,— бодро прокомментировал этот маневр Толик, и мы, пропустив их вперед, опять пошли следом.

Наше преследование кончилось безрезультатно. Возле главного входа девушек ждали двое парней. Когда они шагнули навстречу девушкам, мы с Толиком сделали по шагу в обратном направлении. Физическое превосходство парней было очевидным.

— Ну что, теперь погонимся за другими? — спросил я удрученно.
— Зачем гоняться? — сказал Толик. — Пускай они за нами гоняются. Вон на лавочке две сидят, пойдем с ними поговорим.

— Да ну их, — сказал я. — Бегаем как дураки по всему парку, а толку чуть.

— Ну, пошли, сейчас познакомимся.

— Как же, познакомимся, — усомнился я.

— Точно тебе говорю: познакомимся. Пошли.

— Ну, ладно, пошли, — сказал я.

Толик обрадовался.

— Ты себе какую берешь?

— Никакую, — сказал я сердито.

— Ну, ладно, я себе беру блондинку, а твоя будет рыжая. Ты рыжих любишь.

Я и сам не знал, каких я люблю.

Наши очередные жертвы, ни о чем не подозревая, сидели на лавочке и разговаривали.

— Здравсьте, — сказал Толик.

— До свиданья, — сказала блондинка.

— Спасибо, — сказал Толик и сел рядом с блондинкой. — Прощу вас, — пригласил он меня.

Я подчинился и сел рядом с рыжей.

— Знакомьтесь, — сказал Толик, кивая в мою сторону, — мой друг Валерий, очень большой человек, лауреат Международной премии за укрепление мира между народами.

— А вы кто? — с любопытством спросила блондинка.

— Я? Я поэт Евтушенко, — сказал Толик скромно.

— А я думала: Маяковский, — сказала блондинка.

— Маяковский — это он.

— А если серьезно? — спросила блондинка.

— А если серьезно... — Толик встал и представил торжественно меня и себя: — Валерий Важенин, Анатолий Божко.

Это прозвучало солидно. Довольный произведенным впечатлением, Толик сел на место и уже тихим, вкрадчивым голосом спросил:

— А вас как прикажете?

— Ее Поля, — сказала блондинка, — а меня... вы только не подумайте, что я нарочно... так у нас получилось... меня зовут Оля.

— Очень хорошо, — сказал Толик, — запомнить легко, а забыть еще легче. Ну что, Оля и Поля, может, пойдем туда-сюда пошляемся?

— Что это вы так говорите? — подала голос Поля. — Что это за слова такие — «пошляемся»?

— Это я по-французски, — оправдался Толик. — В смысле погуляем.

Поля посмотрела на Олю.

— Мне все равно, — сказала Оля.

— Может, пойдем потанцуем? — спросила Поля.

— Блестящая идея, — согласился Толик.

Мы встали, пошли. Запас шуток у Толика истощился, некоторое время мы шли молча. Молчание грозило стать затяжным, и Толик нашел выход из положения.

— А что это мы идем и молчим? — сказал он. — Может, поговорим о чем-нибудь?

— А о чем? — деловито спросила Оля.

— Мало ли о чем. Валера, расскажи девочкам стих. Вот этот... про дерево.

— А вы любите книжки читать? — заинтересовалась Поля.

Я смутился.

— Да так. Иногда.

— Я книжки ужасно люблю,— сказала Поля.— Особенно жизненные. Вот я недавно прочла «Сестру Керри».

— Драйзера.— Я проявил эрудицию.

— Не знаю. Так там мне больше всего понравилось, что все, как в жизни. Когда я жила в Днепропетровске, у нас была одна соседка, капля воды — сестра Керри. А еще недавно я читала «Красное и черное»...

— Стендаля,— подсказал я.

Поля остановилась и посмотрела мне прямо в глаза.

— Учитите, Валера,— строго сказала она.— Я авторов никогда не запоминаю.

— Мальчики, а билеты у вас есть? — вдруг вспомнила Оля.

— В самом деле,— сказал я и посмотрел на Толика.

Толик похлопал себя по карману и сделал кислую рожу.

— Так надо купить,— сказала Поля.

— Правильно,— обреченно сказал Толик.

— Может, у вас нет денег?

— У нас? — Толик скривился презрительно.— У нас денег мешок. Валера, отойди на минутку.— (Мы отошли с ним в сторону.) — У тебя хоть что-нибудь есть?

— Тридцать копеек.

— Это не деньги,— сказал Толик.— Это слезы. Посиди пока с ними, чтоб не сбежали. Я скоро вернусь.

Он ушел, а я остался. Говорить было не о чем, мы молчали. Первой заговорила Оля.

— Жарко сегодня,— сказала она, вытирая шею платочком.

— Да, действительно жарко,— согласился я.— Может, хотите воды?

Надо было как-то растянуть время.

— Лучшее мороженое,— робко сказала Оля.

— Эскимо? — бодро уточнил я и потрогал в кармане свои тридцать копеек.

— Пломбир,— возразила Поля.

В этот момент я ее ненавидел. Мы встали в хвост длинной очереди за толстой теткой в цветастом открытом платье. Не знаю, на что я рассчитывал. Может, на то, что, пока подойдет очередь, появится Толик. Или разразится стихийное бедствие.

Очередь двинулась довольно быстро. Небо было чистое, звездное. Стихийного бедствия пока не предвиделось. Что делать? Может, просто сбежать? Очередь катастрофически приближалась. Спасение пришло неожиданно.

— Смотрите,— сказала вдруг Поля.— Спутник летит.

— Где спутник? — спросил я, выходя на всякий случай из очереди.

— Вон, прямо над головой, смотрите.

Я стошел еще дальше.

— Нет, это не спутник,— сказал я,— это самолет.

— Откуда вы знаете? — не поверила Оля.

— Во-первых,— сказал я,— это можно определить по шуму двигателей. Во-вторых, по огням. Они называются «БАНЮ» — бортовые аэронавигационные огни.

— Вы что,— сердито спросила Поля,— все знаете?

— Не все,— сказал я,— но это знаю. В школе я занимался в авиамодельном кружке, и мы там кое-что проходили.

— Братцы,— сказала Оля,— а очередь-то мы пропустили.

— Неужели? — всплеснул я руками.

И в самом деле. Тетка в цветастом платье, которая стояла впереди

меня, отходила в сторону, торжественно, как факел, неся перед собой эскимо на палочке.

— Все ваша эрудиция,— упрекнула Поля.

— Ну, ничего, постоим,— сказал я в расчете на то, что теперь нам мороженого просто не хватит.— Время у нас еще есть.

— Какое же время?— сказала Оля.— Вон ваш товарищ уже идет. Наконец-то. Беспечно размахивая транзистором, к нам приближался Толик.

— А если вы все знаете,— не унималась Поля,— скажите, это правду говорят, что дельфины — мыслящие существа?

— Чего?— спросил подошедший Толик.

Поля повторила вопрос.

— Не думаю,— сказал Толик.— Если б они были мыслящие, они бы в трусах плавали.

Мы пропустили девчонок вперед, а сами немного отстали.

— Достал?— шепотом спросил я у Толика.

— Достал два билета,— сказал Толик,— толкнул частнику подшпик за рубль.

— Что же делать?

— Придумаем что-нибудь... Девочки,— сказал он, подходя к Оле и Поле,— вот вам два билета, вы идите, а мы сейчас придем. У нас тут еще одно небольшое дельце есть.

— Что это у вас все дела какие-то?— недоуменно сказала Поля, но билеты взяла.

Они ушли, а мы остались. Играла музыка. Над освещенной, забитой людьми танцплощадкой стояла пыль.

— Ну что ты еще придумал?— спросил я у Толика.

Мне это уже все надоело, я бы с удовольствием ушел домой, чтобы, лежа на диване, подремать над какой-нибудь книжицей.

— Пойдем через служебный вход,— сказал Толик.— Больше делать нечего.

Возле оркестрового купола в заборе, ограждающем танцплощадку, кто-то выломал железные прутья, получилась дыра, не очень большая, но для нас с Толиком в самый раз. Эту дыру Толик и называл служебным входом. Возле дыры, опершись на забор, стояли два парня в одинаковых синих рубашках, здоровые и плечистые, должно быть спортсмены. Они о чем-то между собой разговаривали.

— Ребята, милиции нет?— деловито спросил Толик.

Парни перестали разговаривать, повернулись к нам.

— А что, пролезть хотите?— с любопытством спросил тот, который загоразивал дыру.

— Может быть,— уклончиво сказал Толик.— А что?

— Да ничего,— парень подвинулся к своему товарищу, освобождая дыру.— Откуда тут милиция? Валяйте.

— Как бы не вляпаться,— засомневался Толик.

— Как хотите,— сказал парень,— мы вот не вляпались.

Толик посмотрел на парней, потом на меня.

— Ну, ладно,— решил он,— давай, Валера, ты первый, а я за тобой.

Только я пролез на ту сторону и разогнулся, как сразу заметил красную повязку на рукаве парня, стоявшего возле дыры.

— Вот и хорошо,— сказал парень. Он сжал мою руку повыше локтя так сильно, что я понял: вырваться бессмысленно.

Толик сразу все сообразил и отпрянул от забора.

— Так вы дружинники,— сказал он укоризненно.

— Так уж получилось,— сказал тот, что держал меня за руку.— Чего ж ты не лезешь?

— В другой раз,— пообещал Толик.

— Ну, смотри, дело твое,— сказал дружинник и обратился к своему товарищу:— Пойдем, что ли?

— Пойдем,— сказал тот, почесывая затылок. Ему, видно, очень не хотелось со мной возиться.

— Пошли,— сказал тот, что держал меня за руку.

— Пусту руку,— сказал я,— тогда пойду.

— А не побежишь?

— Не бойся,— успокоил я,— не побегу.

Пробираясь между танцующими, я столкнулся с Олей и Полей. Они танцевали влвоом.

— Валера,— обрадовалась Оля.— А Толя где?

— Сейчас я его найду,— сказал я.

— Вы не ждите,— сказал дружинник,— он его долго будет искать.

Мы вышли с танцплощадки и направились по аллее к выходу.

Сзади на почтительном расстоянии двигался Толик.

— Ты, может, с нами хочешь? — обернулся дружинник.

— А чего это мне с вами идти? Я через забор не лез,— сказал Толик.— Валера, что матери передать, если надолго задержат?

— Ничего,— сказал я сердито.

— Валера, ты на меня не сердись. Если бы я первый полез, они спапали бы меня.

— А почему же ты не полез первым?

— Кому-то же надо быть первым. А теперь что ж — нам двоим пропадать?

— Ну и сволочь у тебя дружок,— заметил дружинник, шедший ближе ко мне.— Возьми его тоже,— сказал он своему товарищу.

— Иди сюда,— сказал второй дружинник и сделал шаг к Толику.

— Сейчас, разбежался,— сказал Толик и на шаг отступил.

— Догоню ведь,— сказал дружинник и сделал еще один шаг.

— Как же, догонишь,— сказал Толик, отступая к кустам.— У тебя по бегу какой разряд?

— Черт с ним,— сказал тот, что был возле меня.— Хватит нам на первый раз одного.

— Ты можешь теперь пойти на танцы,— сказал я Толику.— Дырка свободна.

— Ладно,— оборвал дружинник,— хватит разговаривать. Пошли.

Дежурный по отделению милиции, молодой белобрысый сержант, при моем появлении не проявил ни малейшего удвоольствия.

— Вы еще мне танцоров будете водить,— сказал он дружинникам.— Дали бы под зад пинка — и пускай себе катится на все четыре. А теперь протокол на него составлять, начальству докладывать.

— Мы еще одного хотели взять,— сказал дружинник, приведший меня,— да он убежал.

— Ладно, идите.— Сержант недовольно махнул рукой.— А ты садись на скамейку, посиди.

Я сел на желтую, с облупившейся краской скамейку, а дружинники все еще стояли, переминаясь, перед барьером, отделявшим их от дежурного.

— Ну, чего стоите? — сказал дежурный.— Сказано вам: свободны.

Они-то, наверное, думали, что им вынесут благодарность за их выдающийся подвиг. Обиженные, они повернулись и направились к выходу.

Сидевший на табуретке у входа толстый милиционер в надвинутой на глаза фуражке посторонился. дружинники вышли.

— Так, может, я пойду, если я вам не нужен,— сказал я и встал.
 — Отдохни пока,— сказал дежурный и обратился к стоявшей перед ним девице примерно моего возраста, а может, чуть-чуть постарше: — Так как твоя фамилия?

Девушка стояла, положив руки и подбородок на барьер, и смотрела на милиционера преданными глазами.

— Иванова,— сказала она охотно.

— А может, Петрова?

— Может, Петрова,— согласилась девушка.

— А правильно как?

— Правильно Иванова.

— Ты где-нибудь работаешь?

— Нет. Работала в столовой, потом уволили по сокращению. На самообслуживание перешли.

— В какой столовой?

— В какой столовой-то? Ну, в обыкновенной столовой. Знаете, где едят.

— Ты мне голову не морочь. Номер столовой?

— А я чего-то не припомню.

— И где находится не помнишь?

— Нет.

— Ну, хорошо. А родители у тебя есть?

— Нет.

— А у кого ты живешь?

— У тетки.

— А как фамилия тетки?

— Иванова.

— А зовут как?

Девушка перевела взгляд с сержанта на меня, потом опять на сержанта, пожалала плечами и вздохнула.

— Не помню.

Сержант вздохнул тоже.

— Ну, хорошо. А где живет твоя тетка?

— А она не живет. Она померла.

Дежурный вышел из себя.

— Слушай, что ты мне голову морочишь. Вот сядь здесь и сиди до утра. Начальник придет, он сам с тобой будет разговаривать.

— Как же сидеть? — возмутилась девушка.— Мне на троллейбус надо и спать охота.

— Сидя поспишь. Ну-ка, танцор, подойди сюда.

Я подошел.

— Как фамилия?

— Важенин.

— Зовут?

— Валерий.

— Где работаешь?

— В почтовом ящике.— Я решил напустить туману.

— Что ж ты, ящик, без билета на танцы лазишь? Денег нет? — (Я промолчал.) — Раз денег нет — сиди дома. А теперь будешь здесь сидеть. До утра. А утром к судье — и на пятнадцать суток. Понял? Вот. Садись... Крошкин,— сказал он толстому милиционеру.— Ты тут погляди за ними. Я сейчас вернусь.

Сержант ушел.

Девушка сидела на лавочке, обхватив руками колени и глядя в пол. Когда я сядил рядом с ней, она быстро вскинула на меня глаза и снова опустила их к полу. Я исподволь к ней пригляделся. Беленькая

такая, с красивыми ногами. Глаза у нее, насколько я успел заметить, были большие, темные, только слишком подкрашены в уголках. Темная юбка в обтяжку слегка открывала круглые колени.

— Тебя правда Валеркой зовут? — шепотом спросила девица.

— А что ж я — врать буду? — ответил я тоже шепотом.

Она убрала руки с колен и подвинулась ко мне вплотную.

— А я им все вру, — сказала она. — Им хоть правду говори, хоть неправду — все равно не поверят, так я вру нарочно, пускай работают, пишут свои протоколы. Или вообще не говорю ничего. Спрашивает: «Как зовут?» А я говорю: «Не помню». — «Что, говорит, тебе память отшибло?» А я говорю: «Не отшибло, а я такая и родилась беспамятная». Ну, он злится! А вообще-то меня Татьяна зовут.

— «Итак, она звалась Татьяной...»

— Чего это ты сказал?

— А это стихи такие, — сказал я.

— Стихи? — переспросила она мечтательно. — Я стихи ужас как люблю. Прямо до смерти. — И прочла, откинув в сторону правую руку: — «Вино в бокале надо пить, пока оно играет, жизнь дана, надо жить, двух жизней не бывает».

Милиционер на табуретке очнулся, сдвинул фуражку на затылок, посмотрел на Татьяну.

— Ты чего? — спросил он зловеще. — Самодеятельность устраиваешь?

— Проснулся? — обрадовалась она. — С добрым утром, дядя. Физкультпривет!

— Я вот тебе дам физкультпривет, — лениво проворчал милиционер.

— Какой сердитый, — скривила губы Татьяна. — Тебя что, работа испортила?

— У меня работа нормальная, — сказал милиционер. — Не то что у тебя.

— А сколько тебе платят за твою работу, а?

— С меня хватает.

— Я вижу, что хватает. Небось, когда здесь по коридору идешь, ушами за стенки цепляешься.

— Замолчи! — повысил голос милиционер.

— А чего мне молчать-то? Свобода слова. Понял? Чего хочу, то говорю.

— Замолчи, а то встану, — сказал милиционер. И встал.

— Ну, чего встал? — Татьяна тоже встала. — Думаешь, я тебя испугалась, да? Да мне на тебя плевать. Тьфу!

Милиционер двинулся к ней. Я вжался в стенку. Сейчас что-то будет. Татьяна, протянув вперед руки с растопыренными пальцами, продолжала дразнить приближавшегося к ней милиционера.

— Ну, подойди сюда. — перешла она на завораживающий полусшепот. — Подойди, бегемот проклятый, подойди еще. А-аа! — закричала она неожиданно пронзительным голосом, вскочила на лавку и прижалась спиной к стене.

— Чего орешь? — растерялся милиционер.

— А что, испугался? — Татьяна заплясала на лавке. — Чего ору, да? А вот хочу и ору. А-аа! — закричала она еще пронзительней.

Расстегивая на ходу кобуру револьвера, вбежал дежурный сержант. Остановился посреди комнаты.

— В чем дело? — спросил он, переводя взгляд с Татьяны на милиционера.

— Спроси у нее.— Милиционер отошел к своей табуретке, сел и снова закрыл глаза козырьком.

— Чего вопила? — спросил с любопытством сержант у Татьяны.

Татьяна села на место, оправила юбку, сложила руки между колен и сказала жалобно:

— Сержант, он меня изнасиловать хотел.

— Тебя? — насмешливо переспросил сержант.

— Меня, — сказала она еще жалобней и для убедительности шмыгнула носом.— Вот, пожалуйста, свидетель сидит, — показала она на меня.— Он может подтвердить.

— Бедная ты, — сказал сержант, заходя за свою загородку.— Несчастливая. Беззащитная.— И стукнул неожиданно кулаком.— Будешь у меня тут хулиганить — я тебя живо на пятнадцать суток оформлю. Ясно?

— Ясно, — покорно согласилась Татьяна.

Зазвонил телефон. Сержант снял трубку.

— Дежурный по отделению милиции слушает, — сказал он в трубку.— Да. Алкоголики? Ну, ладно, поместим где-нибудь. Я думаю, им отдельной жилплощади не требуется? — Он повесил трубку, раскрыв какую-то книгу и отметил в ней что-то.

— Сержантик, — ласково сказала Татьяна, — отпусти меня домой, а? А то я на последний автобус опоздаю, тетка волноваться будет.

— Тетка, которая померла? — поинтересовался сержант.

— Да она не то чтобы померла, а так — и померла, и не померла, и живет еще.

— Отпустить ее, что ли? А, Крошкин? — обратился сержант к толстому милиционеру.

— Крошкин, — попросила Татьяна.— Крошечка, скажи, пусть отпустит.

— А ты чего обзывалась? — обиженно сказал Крошкин.

— Да я ж пошутила. Я просто так. Характер у меня дурной. Тетка говорит: «Тебя с таким характером ни один дурак не возьмет замуж».

— Ладно, пусть идет, — махнул рукой сержант.

— Пусть идет, — согласился Крошкин. Отодвинулся, освобождая проход, и снова закрыл глаза козырьком.

— Вот спасибо.— Татьяна вскочила и направилась к выходу. Обернулась: — Спасибо, сержантик. И тебе спасибо. Слышь, Крошечка.— Она постучала пальцем по козырьку.

— Иди, — махнул рукой Крошкин.

— И больше не попадайся, — добавил сержант.

— В ваше отделение, — сказала Татьяна, — ни за что в жизни.

Мы остались втроем. Сержант посмотрел на меня.

— Ну, а с тобой, орел, что будем делать?

Я пожал плечами:

— Дело ваше.

— Ладно, — сказал он весело, — я сегодня добрый. Валяй и ты.

Я не заставил себя долго упрашивать.

Татьяна стояла на улице. Она рассматривала приткнувшиеся к бровке тротуара милицейские мотоциклы. Увидев меня, обрадовалась, как родному.

— Ой, — сказала она, разведя руки в стороны.— Тебя тоже выпустили? А я так и знала, что выпустят. Куда ж им нас девать? Некуда. Тебе куда идти?

— Некуда, — ответил я в тон ей.

— Как некуда? — всполошилась она. — Тебе что, негде ночевать? — Она подошла ко мне ближе и посмотрела мне прямо в глаза.

— Что ты, — поспешно сказал я, — я пошутил. У меня все есть. У меня есть квартира с мамой, бабушкой и швейной машинкой.

— Да? — сказала она разочарованно. — А где ты живешь?

Я сказал. Она вздохнула.

— Тебе близко. А мне аж за Дворец переть. Автобусы спатки легли.

— Пошли провожу, — предложил я.

— Далеко ведь.

— Ничего, — сказал я беспечно.

Она взяла меня под руку, и мы пошли. Никогда до этого я не ходил под руку с девушкой. На улице было тепло и тихо. Шелестели листья на ветках деревьев. По улицам только что прошли поливальные машины, и звезды отражались неясно на мокром асфальте.

Мы шли рядом. Я посмотрел на нее сбоку и засмеялся.

— Ты чего смеешься? — спросила она удивленно.

— Вспомнил, как ты Крошкина воспитывала, — сказал я.

— А! — Она засмеялась тоже. — Здорово я ему выдала. Вообще-то он ничего, толстячок потешный. Правда?

— Правда, — сказал я, остановился и посмотрел на нее. — Послушай, а за что тебя забрали в милицию?

— А ты разве не понял? — тихо спросила она.

— Не понял.

Она выпустила мою руку, отошла в сторону и сказала вызывающе: — За легкое поведение.

— Правда? — спросил я упавшим голосом.

— Конечно, правда.

Она опять оживилась, схватила меня за руку, и мы пошли дальше.

— Понимаешь, я с мальчишкой одним на лавочке целовалась. Я вообще-то целоваться не люблю. А он пристал ко мне, прямо чуть не плачет. А у меня характер такой дурной: жальчивая я очень. Думаю: «Ну, если ему так нужно, что мне, жалко, что ли? Не убудет ведь меня. В крайнем случае потом умоюсь». А тут этот Крошечка. «Вы чем, говорит, занимаетесь в общественном месте?» А я говорю: «Не твое дело, проходи себе стороной». А он говорит: «Ах, не мое дело...» И свисток в зубы. А я говорю: «Выплюнь ты этот свисток, он заразный». Мальчишка-то убежал, а мне бежать не на чем, у меня и так каблук еле держится. А ты думаешь, я правда нигде не работаю? Это я им нарочно сказала. А я вообще-то работаю в парикмахерской. Вот приходи, я тебе любую стрижку сделаю, польку молодежную, польку простую, канальскую, бокс, полубокс, что хочешь. У нас работа художественная. Наш бригадир говорит: «Парикмахер — все равно что скульптор. Он из оборота произведение искусства делает».

На пустыре было тихо и темно. Неуклюжая громада Дворца, освещенная единственной лампочкой, мрачно темнела на фоне звездного неба и синился на нас пустыми проемами окон.

— Страшный какой, — сказала Таня. — Кто ж, интересно, будет в таком жениться?

— Может, мы с тобой, — пошутил я.

— Не надо насмехаться, — строго сказала Таня.

Пустырь сразу переходил в широкую улицу. Потом мы пересекли площадь, прошли еще немного вперед и повернули направо в темный глухой переулок, в конце которого горел фонарь на столбе. Мы до этого фонаря не дошли и остановились возле крупнопанельного пятиэтажного

дома. Было только половина первого, но ни одно окно в доме не светилось, все подъезды тоже были темны.

— Как в войну во время затемнения, — сказал я.

— А откуда ты знаешь, как было в войну? — спросила она.

— Я не знаю, мне рассказывали, — сказал я, — а потом еще я видел кино.

— Чего-то я к тебе за какой-нибудь час так привыкла, — грустно сказала она. — Как будто сто лет тебя знаю. Даже расставаться не хочется.

Я подумал, что она врет, но все равно было приятно.

— Мне тоже не хочется, — сказал я.

— Может, еще погуляем? — спросила она.

Легко сказать — погуляем. Мама с бабушкой, наверно, уже сходят с ума, обзвонили уже все милиции, больницы, «скорую помощь» и бюро несчастных случаев. Я постеснялся ей это сказать, я сказал:

— Не могу. Мне на работу рано вставать.

Она поехала то ли от холода, то ли просто так.

— На работу? Мне вообще-то тоже. Ну, ладно, пока.

Она издали протянула мне руку. Рука у нее была маленькая и холодная.

— А когда мы с тобой встретимся? — спросил я.

— Никогда. — Она вырвала руку и скрылась в темном подъезде.

Я постоял немного на улице, потом тоже вошел в подъезд. Ничего не было видно. Я нащупал рукой шершавую полоску перил и остановился, прислушался, услышал ее шаги. Она тихо, словно крадучись, поднялась по лестнице. Я думал: сейчас откроется дверь и я на слух определю, на каком этаже она живет. Сейчас она была, как мне казалось, на третьем. Пошла выше. Четвертый. Еще выше. Значит, она живет на пятом. Остановилась. Сейчас откроется дверь. Не открывается. Я посмотрел наверх. Ничего не было видно, только чуть обозначенное синим окно на площадке между третьим и вторым этажами. Может, Татьяна тоже пытается разглядеть меня и не видит? Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я ступил на первую ступеньку лестницы. Потом на вторую. Тихо-тихо, ступая на носках, я поднялся по лестнице. Вот и пятый этаж. Лестница кончилась. Татьяна была где-то рядом. Я слышал, как она прерывисто дышит. Я вытащил из кармана спички и стал ломать их одну за другой, потому что они никак не хотели загораться. Наконец одна спичка зашипела и вспыхнула, и я увидел Татьяну. Испуганно прижавшись к стене, она стояла в полущаге от меня и смотрела, не мигая. Потом ударила меня по руке, и спичка погасла. Потом она обхватила мою шею руками, притянула к себе и прижалась своими губами к моим.

Я позабыл о маме, о бабушке, о себе самом.

Вдруг она громко зашептала:

— Убери руки, обижаться буду! Руки! — Она резко меня оттолкнула.

Я зацепил ногой мусорное ведро, оно загремело.

— Тише! — шепнула она.

Глаза мои привыкли к темноте, в слабом свете, проникавшем сквозь окно на площадке между этажами, я различал смутно ее лицо. Помоему, она усмеялась. Усмеялась потому, что я дышал, как загнанная лошадь, и ничего не соображал.

— Ты что, сумасшедший? — спросила она.

— Нет, — сказал я, переводя дыхание.

— А чего ж ты?

— Чего «чего»?

— Чего руки распускаешь, говорю? — сказала она громко.

Я не знал, что ответить.

— Ты всегда так делаешь? — спросила она уже тише.

— Всегда.— Я рассердился и полез в карман за сигаретами.

— Дай закурить,— сказала Таня.

— А ты разве куришь?

— А как же.

Прикуривая, она смотрела на меня с любопытством. Я поспешил прикурить сам и погасил спичку. Некоторое время курили молча. Потом она спросила:

— Ты раньше с кем-нибудь целовался?

— Всю жизнь только этим и занимаюсь.

— Что-то не похоже,— усомнилась она.

— Почему?

— Почему? — Она затаилась и пустила дым прямо мне в нос.— Не умеешь. Хочешь, научу?

Я ничего не ответил. Она взяла у меня окурки и вместе со своим бросила на лестничный пролет. Окурки, ударяясь о ступеньки и рассыпая бледные искры, полетели зигзагами вниз, то встречаясь, то расходясь, и пропали.

— Ну, учи,— сказала Татьяна и пригнула меня к себе.

Назавтра мы договорились встретиться снова. В восемь часов возле универмага.

Приближалось утро, небо бледнело, на улицы вышли дворники и громко шаркали метлами.

Пустырь я пересек напрямую и вышел к площади Победы. За площадью свернул на бульвар и пошел по аллее. Редкие фонари рассеивали конусы света, на темных скамейках блестела роса.

Я шел, не торопясь. Торопиться мне, собственно говоря, было уже просто некуда. Бабушка с мамой, конечно, обегали все, что можно обегать ночью, и теперь сидят при свете, ждут. Приду — будут попрекать, будут демонстративно глотать сердечные таблетки и капли. Хоть совсем не приходи.

Потом я услышал какие-то голоса и смех и посмотрел вперед. Впереди меня под фонарем расположилась группа каких-то людей. Они сдвинули вместе две скамейки, некоторые сидели на этих скамейках, а те, кому не хватило места, стояли.

Я несколько сбавил шаг и стал смотреть себе под ноги. Потом нашел кусок кирпича, хотел положить его в карман, но в карман он не влез, я прижал его к бедру и пошел немного правее, подальше от скамейки, на всякий случай. Мало ли чего может случиться, когда на улице нет ни милиции, ни прохожих — никого, кроме меня и этих парней.

О чем они разговаривали между собой — я не слышал, но когда я поравнялся с ними, они замолчали и уставились на меня, я этого не видел, но чувствовал. Я шел, напрягшись, и держал кирпич так, чтобы его не было видно.

— Валерка! — услышал я знакомый голос и обернулся. Ко мне приближался Толик.

И я сразу вспомнил двор школы, турник, тренирующихся парашютистов и приказ инструктора в кожаной куртке собраться в три часа ночи на бульваре у кинотеатра «Восход».

Я незаметно бросил кирпич в кусты.

— Ты откуда? Из милиции, что ли?

— Из санатория.— сказал я сердито. Я никак не мог простить ему, что он ушел, когда дружинники тащили меня в милицию.

— Ну, я так и знал, что до утра выпустят,— сказал Толик.— У них и без тебя работы хватает.

— Ну да,— сказал я,— ты все знал заранее. А чего ж тогда ты со мной не пошел?

— А зачем нам вдвоем идти? — сказал Толик.— Тебе разве легче было бы, если б меня тоже забрали?

— Морально легче,— сказал я.— Вместе лезли, вместе надо и отдуваться. Я на твоём месте ни за что не ушел бы.

— Ну и зря,— сказал Толик.— Зря не ушел бы. Ты прыгать будешь?

— Ну да, прыгать,— сказал я.— Ты-то выспался, а я из-за тебя всю ночь глаз не сомкнул.

— А я, думаешь, спал? — обиделся Толик.— Я этих провожал. Как их? Олю и Полю.

— Ну и что? — спросил я.

— Да ничего. Они в общежитии живут. Я хотел с Олей в подъезде постоять, а эта зараза рыжая тоже стоит, не уходит. Ну, я плюнул и ушел. Поехали, а?

— Да я не знаю,— заклебался я.— Мать волноваться будет.

— Не будет,— сказал Толик.— Она ко мне приходила в час ночи, я сказал, что ты поехал к товарищу за книжками для института и останешься у него ночевать. Поехали.

В это время из-за угла выехал микроавтобус с включенными подфарниками. Он остановился как раз напротив скамеек. Из него вылез знакомый уже нам инструктор и, сложив ладони рупором, весело закричал:

— Эй, парашютисты, вали все сюда!

Все парашютисты кинулись прямо через газон к машине.

— Ну что, ты едешь или не едешь? — нетерпеливо спросил Толик.

— Да я не знаю,— сказал я. Я все еще колебался.

— Ну, как хочешь,— сказал Толик и побежал к машине.

— А, была не была,— сказал я и побежал вслед за ним.

Дорога была длинная. Мы проехали весь город, выехали на шоссе, потом свернули на проселочную дорогу и еще долго ехали по ней. Когда приехали на аэродром, было уже совсем светло.

Аэродром был аэроклубовский. На нем не было, как я себе представлял раньше, бетонных дорожек или стеклянных ангаров — просто клочок поля с выгоревшей травой, два небольших домика и несколько белых цистерн с бензином, врытых наполовину в землю.

Маленькие зеленые самолетики (потом я узнал, что они называются «ЯК-18») взлетали, садились, рулили по земле, таща за собой хвосты желтой пыли. По полю взад и вперед сновали какие-то люди в комбинезонах.

Наш микроавтобус подъехал к одному из домиков, над крышей которого болтался полосатый мешок.

Инструктор первый вылез из кабины и встал возле дверцы.

— Вылезайте, да побыстрей,— скомандовал он.

Парашютисты стали по одному выпрыгивать из машины, а инструктор считал:

— Раз, два, три, четыре...

Пятым из машины вылез я.

— А ты встань сюда.— Инструктор показал мне место рядом с собой.— И ты тоже,— сказал он вылезшему из машины Толику. Пересчитал остальных. Скомандовал: — В колонну по два становись! Равняйся! Смирно! Шагом марш вон к тому самолету.— Он показал на самолет,

который стоял отдельно от других. У него на фюзеляже был нарисован такой же, как на куртке инструктора, парашютный значок.

— А мы как же? — растерялся Толик.

— Как хотите, — сказал инструктор. — У меня вас в списках нет.

Мы остались одни.

— Дурачок какой-то, — укоризненно сказал Толик, глядя вслед удаляющемуся инструктору. — Раньше не мог сказать.

— А он нарочно завез нас, хотел проучить, — сказал я.

— Я и говорю: дурачок. — Вид у Толика был виноватый. — Может, такси где поймаем? У меня деньги есть. Я у отца грешку свистнул.

— Какое уж тут такси, — безнадежно сказал я.

Я достал сигареты, дал Толику, взял себе. Пробежавший мимо человек в комбинезоне сказал:

— Ребята, здесь курить нельзя. Там за домом курилка.

За домиком вдоль стены тянулась длинная, врытая в землю скамейка, перед ней железная бочка, тоже врытая в землю и наполненная наполовину водой. Вода была мутная, в ней плавали жирные размокшие окурки. На краю скамейки сидели два летчика. Один — лет тридцати, маленький, коренастый, черный, как жук, — был похож на мелкого жулика. На нем были широкие брюки и бежевая куртка на молниях. Из-под белого подшлемника выбивалась на лоб аккуратно подстриженная челочка. Другой был постарше, повыше, рыжий, с белыми глазами, как у альбиноса. Мы с Толиком сели с другого края.

Летчики не обратили на нас никакого внимания, они вели между собой какой-то странный, непонятный мне разговор.

Белоглазый жаловался:

— Выходит, курсант сломал ногу, а ты должен за него отвечать.

— А как он сломал? — спросил черный. — Ткнулся на три точки?

— Если б на три. А то как шел носом, так и воткнулся.

— И что, ничего теперь с ногой сделать нельзя?

— Черт ее знает. Отдали пока в ПАРМ, может, там сварят. А не сварят — придется новую ставить. А за новую вычтут из зарплаты.

— Это уж точно, — вздохнул черный. — У меня в прошлом году курсант фонарь в воздухе потерял, и то два месяца высчитывали, а это же нога.

Он встал и швырнул в бочку окурков. Белоглазый тоже встал и свой окурков раздавил каблуком.

Они ушли.

Впереди нас, немного левее, белели наполовину врытые в землю большие цистерны. Они были огорожены колючей проволокой. Между двумя цистернами стоял маленький черный ишак, запряженный в двухколесную тележку, на которой лежала железная бочка. И маленький человек в грязном комбинезоне при помощи ручного насоса перекачивал что-то не то из цистерны в бочку, не то из бочки в цистерну.

— А я эту Олю вчера поцеловал, — неожиданно похвастался Толик. — Мы стояли в подъезде, а рыжая пошла к себе воды попить. А я Олю к батарее прижал и — чмок, прямо в губы. А она ничего, только говорит: «Не надо, Толя, мы еще мало знакомы». А я говорю: «Так будем больше знакомы». И тут эта рыжая снова приперлась и помешала. — Толик с видом явного превосходства посмотрел на меня.

— Подумаешь, — сказал я. — Я всю ночь целовался.

— С милиционером?

— Зачем с милиционером? С девчонкой. Вчера познакомился.

— Где познакомился? — Толику никак не хотелось в это поверить.

— В милиции, — сказал я.

— Не заливай.

— Не веришь — не надо, — сказал я и снова стал следить за человеком в грязном комбинезоне.

Человек перестал качать насос. Сложил шланг, после чего залез на бочку и пнул ишака сапогом. Ишак покорно тронулся и, миновав узкий проход в колючей проволоке, побрел в сторону стоянки самолетов, таща за собой двуколку с железной бочкой, на которой крупными белыми буквами было написано: «Масло».

— Слышь, — не выдержал Толик. — А что за девчонка? Красивая?

— Красивая, — сказал я.

— А зовут как?

— Таня.

Я не хотел рассказывать ему, но он пристал как банный лист: как выглядит да сколько лет, и я постепенно ему все рассказал. Тогда Толик подумал и сказал с облегчением:

— А, я ее знаю.

— Откуда? — удивился я.

— Да ее все знают, — сказал Толик. — Она с Козубом путалась.

— Кто это тебе говорил? — не поверил я.

— Козуб. Да я и сам сколько раз видел их вместе.

— Мало ли чего ты видел. Может, это вовсе и не она.

— Да как же не она? — сказал Толик. — Все сходится: Татьяна, работает парикмахершей. Она за Дворцом живет?

— Нет, не за Дворцом, — соврал я. Продолжать этот разговор мне не хотелось.

Далеко над опушкой леса на большой высоте кружился самолет. Он делал всевозможные фигуры: петли, бочки, иммельманы, то падал вниз камнем, то свечой взмывал вверх и терялся за легким облачком.

Из-за домика вышел белообрый паренек в комбинезоне, подпоясанном армейским ремнем. Под ремнем болтался шлемофон с дымчатыми очками. В руках у него было ведро, в ведре лежала какая-то часть мотора, болты, гайки. Я сначала не обратил на парня никакого внимания, потому что следил за самолетом.

— Во дает! — восхитился Толик. — Вот бы на нем прокатиться. Скажи?

Я не ответил.

Паренек достал из кармана комбинезона сигареты, спички, закурил.

— Смотри, смотри, штопорит! — закричал Толик.

— Не штопорит, а пикирует, — поправил парень.

— Да? Пикирует? — усомнился Толик. Он осмотрел парня с ног до головы, задержал взгляд на шлемофоне с очками и спорить не стал.

Я тоже посмотрел на парня и вдруг узнал:

— Славка!

Славка недоуменно посмотрел на меня и тоже просиял:

— Валерка! Ты что здесь делаешь?

— Да ничего. Толик, познакомься: это Славка Перков, мы с ним в школе вместе учились.

Толик не спеша протянул Славке руку и со значением представился:

— Толик.

— А ты здесь что делаешь? — спросил я.

— Вообще то же, что и все, — сказал Славка. — Летаю.

— Как летаешь? — не понял я.

— Ну как летаю. Обыкновенно. Я же в аэроклубе учусь. Ты разве не знал?

— Первый раз слышу.

— Вот тебе нá.— Славка даже присвистнул.— Да я уже кончаю. Еще месяц — и все.

— А потом что? — спросил я.

— Потом пойду в истребительное училище. Сейчас у истребителей такие скорости, что летать можно только лежа.

— И ты сам можешь летать на самолете без инструктора?

— Конечно, сам,— сказал Славка.— Я же тебе говорю: кончаю уже.

— И вот так можешь? — Я показал на самолет, выполнявший фигурный пилотаж.

— Знаешь что? — Славка встал, взял ведро в руки.— Хочешь со мной прокатиться?

— А разве можно?

— Даже нужно. А то нам вместо человека мешок с песком во вторую кабину кладут. Для центровки. Но на всякий случай, если спросят, хочешь ли в аэроклуб, говори: «Хочу». Мечта, мол, всей жизни. Понял?

— Понял,— сказал я.— Только я ведь с товарищем.

— Ну, можно и товарища.— Славка посмотрел на Толика.— Пойдешь?

— Я-то?

— Ты-то.

Толик посмотрел на Славку, потом на кувыркающийся самолет, снова на Славку.

— Да нет,— сказал он лениво,— что-то не хочется.— Повернулся ко мне: — А ты иди, если хочешь, я здесь подожду.

Мы со Славкой прошли в конец стоянки, к самолету, который стоял без колес, поднятый на «козелки». Из открытой кабины торчали ноги в брезентовых сапогах.

— Техник! — Славка поставил ведро и забрался на крыло.— Техник! — Он дотронулся до одной ноги и покачал ее.— Я карбюратор промыл, все в порядке.

Голос из кабины ответил:

— Теперь промой подшипники колес, набей смазку, я шплинт поставлю, потом проверю.

— Техник,— сказал Славка.— Мне летать пора.

Ноги поползли сперва вверх, потом опустились на крыло, из кабины вылез рыжий человек с перепачканным смазкой лицом.

— «Летать», «летать»,— сказал он, вытирая потный лоб рукавом и еще больше размазывая грязь.— Летать все хотят, а как драить машину, так вас днем с огнем не найдешь. Скажи командиру, пусть пришлет курсантов, которые отлетали.

— Ладно,— сказал Славка.— скажу.— Он повернулся ко мне: — Бежим.

Посреди аэродрома квадратом были расставлены четыре длинные скамейки, на них сидели курсанты в комбинезонах, полный человек в кожаной куртке и военной фуражке и летчик с белыми глазами, который в курилке жаловался на курсанта, сломавшего какую-то ногу.

В стороне от квадрата маленький летчик, похожий на жулика, распекал долговязого, нескладного парня с длинными, как у обезьяны, руками.

— Ты, Кузнецов,— говорил летчик,— длинный фитиль. Ты не можешь сообразить своей головой, что, когда у тебя крен семьдесят градусов, руль поворота работает, как руль высоты, а руль высоты работает, как руль поворота.

— Почему не могу? Могу,— тихо обижался Кузнецов.

— А если можешь, какого хрена выправляешь шарик ногой, когда его надо ручкой тянуть?

Курсант виновато глядел в пространство. Может быть, он не знал, что ответить.

Тут Славка схватил меня за руку и всунулся между летчиком и курсантом.

— Иван Андреич,— сказал он.— Вот мой товарищ, он хочет в аэроклуб поступить.

— Молодец,— сказал Иван Андреич.— Летчик — самая настоящая профессия для мужчины. Летчик — это романтика, красивая форма, деньги...

— И короткая жизнь,— неожиданно сострил Кузнецов.

— Что ты сказал? — возмутился Иван Андреич.

— Я пошутил,— быстро сказал Кузнецов.

— Ах, ты пошутил. Сейчас же на стоянку к Моргуну и драить машину. Понял?

— Иван Андреич, я пошутил,— взмолился Кузнецов.

— Шутка становится остроумней, когда за нее надо расплачиваться,— изрек Иван Андреич.— Шагом марш к Моргуну!

Курсант нехотя двинулся в сторону стоянки.

— Бегом! — крикнул ему вслед Иван Андреич. И повернулся ко мне:— После аэроклуба можешь поступить в любое училище. Три года — и ты лейтенант. Еще три года — старлей. Восемнадцать лет послужишь — полковник. Документы принес?

— Нет,— сказал я, ошеломленный богатством открывшихся перспектив.

— Хорошо, принесешь завтра. Аттестат зрелости, справку с места работы, с места жительства, две фотокарточки. В отделе кадров скажешь, чтоб записали во второе звено ко мне. Понял?

Тут незаметно подошел белоглазый.

— Почему же он должен записываться во второе,— сказал он,— может, он хочет в первое.

Иван Андреич повернулся к белоглазому, осмотрел его с головы до ног, словно видел впервые, и тихо, но внятно сказал:

— В первое он не хочет. Ему там нечего делать.

— Почему же нечего? — обиделся тот.— Что ты — лучше других?

— Я лучше,— убежденно сказал Иван Андреич.— Я курсантов летать учу, а не шасси ломать.

— Тоже мне учитель нашелся,— фыркнул презрительно белоглазый.— А в прошлом году кто фонарь потерял?

— А ты — хрен в сметане,— не найдя других возражений, буркнул Иван Андреич.

— Товарищи! — крикнул из квадрата человек в кожанке.— Прекратите немедленно. Вы что тут базар устроили? Хоть бы постеснялись курсантов.

— Да мы ничего, товарищ майор,— смутился Иван Андреич.— Просто небольшой обмен опытом.— Он наклонился ко мне и тихо напомнил: — Во второе звено. Понял?

— Иван Андреич,— снова влез Славка.— Можно, я его с собой в зону возьму для ознакомления?

Иван Андреич замаялся.

— В зону нельзя,— сказал он.— По кругу еще куда ни шло, а в зону нет. Строжайший приказ по ДОСААФ: посторонних не возить.

— А я его возьму,— сказал белоглазый.— У меня сейчас Ухов летит, посажу к нему.

— Еще чего не хватало,— возмутился Иван Андреич.— Да твой Ухов летать не умеет. Угробит зазря человека. А из него, может, ас мирового класса бы вышел. Может, вышел бы космонавт.

Он говорил таким тоном, будто неизвестный мне Ухов уже меня загубил.

— Перков! — закричал Иван Андреич Славке так, словно Славка был далеко.— Разрешаю. Понял? Под свою ответственность. Пусть возьмет мой парашют. Только без фокусов. Если что, ноги вырву, спички вставлю и ходить заставлю. Понял?

— Так точно. Понял,— ответил Славка.

Первый раз в жизни я в воздухе. Натужно на одной ноте гудит мотор, самолет, задрав нос, медленно подбирается к пухлому облаку. Внизу какой-то чахлый лесок, деревушка, узкая полоска шоссе с ползущим по нему ярко-красным, похожим на божью коровку автобусом.

В наушники сквозь гул мотора прорываются голоса:

— «Альфа», я — сорок шесть, закончил третий, разрешите посадку.

— «Альфа», я — семнадцатый, к взлету готов.

— Сорок шестому — посадка.

— Семнадцатый, побыстрее взлетайте, не чухайтесь на полосе.

— Двадцать третий, куда лезешь не в свою зону, дурак?

— Четырнадцатый, прекратите болтовню в эфире. Ваша зона четвертая, четвертая зона. Как поняли меня? Я — «Альфа». Прием.

— Я — четырнадцатый, понял вас, понял. Прием.

Низкий невнятный голос сонно бубнит:

— Даю настройку, настройку, настройку. Один, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два, один. Как понял меня? Прием.

— Понял, давно понял, закройся. Прием.

— Радисты, радисты, я — «Альфа», перестаньте хулиганить. Я — «Альфа».

— Валерка,— неожиданно слышу я свое имя и вздрагиваю,— как чувствуешь себя?

Сообразив, в чем дело, нажимаю на кнопку переговорного устройства (кнопку мне показали еще на земле):

— Тридцать первый, я — Валерка, чувствую себя отлично. Как поняли? Прием.

— Не дурачься,— отвечает спокойно Славка.

Он сидит в передней кабине. Передо мной, заслоня горизонт, торчит его круглая голова, обтянутая кожей потертого шлемофона.

Славка — мой школьный товарищ, с которым я просидел столько времени за одной партой,— ведет этот самолет. Он может накренить его влево или вправо, может по своему усмотрению ввести в пике или перевернуть вверх колесами. Славка, которому я не однажды давал по шее, который учился в школе гораздо хуже меня, может управлять этой машиной, может делать с ней все, что угодно. На разворотах машина кренится, одно крыло опускается к земле, другое упирается в небо. Я хватаюсь за подлокотники кресла. Самолет переваливается на другое крыло, потом выравнивается и опять ползет вверх.

Снова Славкин голос:

— Поуправлять хочешь?

Я недоверчиво смотрю на его затылок.

— Ты мне, что ли?

— А кому же еще? Поставь ноги на педали.

Нагибаюсь, смотрю на педали, потом осторожно всовываю ноги под ремешки.

— Поставил? — спрашивает Славка. — Теперь возьми ручку управления.

Беру.

— Ручка управления, — говорит он тоном преподавателя, — служит для управления элеронами и рулем высоты. Ручку от себя — самолет идет вниз, ручку на себя — вверх, ручку влево — левый крен, ручку вправо — правый. Педали служат для управления рулем поворота. Чтобы повернуть влево, надо координированным движением дать ручку влево и левую ногу вперед. Вот так.

Ручка и педали чуть шелохнулись, самолет накренился, горизонт пополз вправо мимо Славкиной головы.

— Понял? — спросил Славка и выровнял самолет.

— Понял, — сказал я.

— Ну давай, шуруй.

Я взял и не долго думая двинул ручку влево к борту кабины и тут же бросил ее, потому что самолет чуть не перевернулся — левое крыло оказалось внизу, а правое уперлось в небо. Потом крылья описали обратную дугу, самолет покачался и пошел ровно.

— Ты что, ошалел? — испуганно сказал Славка.

— Ты же сам сказал — ручку влево, ногу вперед.

— Я сказал, — проворчал Славка. — Надо чуть-чуть, еле заметным движением. Хорошо, что аэродром далеко, а то руководитель полетов сделал бы замечание.

— Ты извини, я не хотел, — сказал я.

— Ничего, обошлось, — сказал Славка и закричал: — «Альфа», «Альфа», я — тридцать первый, вошел в зону, разрешите работать!

Работать ему разрешили.

Я посмотрел на стрелки высотомера — прибора, похожего на часы. Маленькая стрелка стояла на единице, большая на двойке. «1200 метров», — сообразил я.

— Сейчас будем делать восьмерку, — сказал Славка. — Сперва левый вираж на триста шестьдесят градусов, потом правый. Вон видишь, на горизонте телевизионная вышка? По ней будем ориентироваться.

Я посмотрел вперед и увидел в дымке город — бесчисленное количество серых коробочек. Вышки я не увидел.

Правое крыло плавно поползло вверх, все выше и выше, я подумал, что самолет сейчас перевернется, вцепился в подлокотники сиденья, но крыло остановилось почти вертикально, и горизонт пополз вправо. Неимоверная тяжесть вдавила меня в сиденье. Такое ощущение, будто к ногам и рукам привязали двухпудовые гири, а щеки вместе с ушами ползут к плечам.

Славка поворачивает ко мне расплывшееся от счастья лицо.

— Ну как, жмет?

— Жмет немного, — бодрюсь я, еле двигая отяжелевшей челюстью.

— Это что, — говорит Славка, — ерундовая перегрузка. Вот на реактивных — там жмет. Переходим в правый вираж.

Правое крыло падает вниз, левое занимает его место над головой. Снова перед глазами плывет горизонт, но теперь уже в другую сторону.

Самолет выходит из виража, выравнивается.

— Петля! — коротко объявляет Славка.

Я не могу передать все свои впечатления, не могу рассказать, как все это было. У меня для этого не хватает слов.

Были петли и полупетли, бочки правые и левые, боевые развороты и перевороты через крыло. Не всегда я мог понять, где верх, где низ.

Земля и небо менялись местами. Иногда казалось, что самолет висит неподвижно, а вселенная вращается вокруг его оси.

Потом наступило затишье, и все встало на свои места. Земля была внизу, небо сверху — даже не верилось.

— Хочешь еще поуправлять? — спросил Славка.

— Еле заметным движением? — спросил я, приходя понемногу в себя.

— Теперь наоборот. Можешь показать все, на что способен. Поставь ноги на педали, возьми ручку. Когда я скажу «пошел», возьмешь ручку на себя до отказа, а левую ногу до отказа вперед. Не резко, но энергично. Понял?

— Понял.

Славка убрал газ, стало тихо. Скорость падала, самолет терял устойчивость — покачивался и проваливался вниз, «парашютировал».

— Пошел!

Я что было сил рванул ручку на себя и двинул вперед левую педаль. Самолет взмыл вверх, встал почти вертикально и вдруг рухнул на левую плоскость. Беспорядочно вращаясь, рванулась навстречу земля. Я испуганно бросил ручку, схватился за подлокотники кресла. Славка перевел самолет в пикирование, потом боевым разворотом вывел на прежнюю высоту.

— Знаешь, что ты сделал? — спросил он.

— Иммельман, — наобум брякнул я.

— Левый штопор, — объяснил Славка. — Сейчас будем правый делать. Ручку на себя и правую ногу вперед. Приготовься. — Он убрал газ, самолет снова начал «парашютировать».

— Пошел!

В правый штопор я ввел самолет более уверенно.

И вот наконец мы садимся, рулим по земле. Нас встречает усатый механик. С поднятыми вверх руками он пятится назад, и самолет послушно тащится за ним. Механик остановился. Остановился и самолет. Механик сложил руки крестом, Славка выключил двигатель. Потом он выбрался на плоскость и открыл фонарь надо мной.

— Ну как ты, живой? — спросил он, заглядывая ко мне в кабину.

— Голова кружится, — сказал я.

— Ну и вид, — сказал Славка. — Зеленый, как огурец. Ничего, бывает хуже. Я первый раз после зоны облевал всю кабину. Потом самому чистить пришлось.

И все-таки мне этот полет понравился. Потом я летал много и на самых разных самолетах. Летал со скоростью звука и быстрее звука, сам делал и петли и полупетли, бочки горизонтальные и восходящие бочки. Один раз мне даже пришлось катапультироваться, когда я вошел в плоский штопор и не мог из него выйти, но ни от одного полета у меня не осталось столько впечатлений, сколько от того первого раза, когда Славка разрешил мне прикоснуться к ручке управления.

После полета я пошел искать Толика. В ушах еще стояли крики по радио, шум мотора. Перепонки болели от перепадов давления. Меня еще мучило, в ногах была слабость, а земля казалась нетвердой и зыбкой. Толик мне был нужен немедленно. Я хотел ему рассказать, как все было, как я летал, как говорил по радио, как управлял самолетом и вообще какой я был молодец. Меня просто распирало от впечатлений.

Толик сидел в прежней позе на прежнем месте. Судя по его отрешенному виду, он отсюда и не уходил никуда.

— Ну как? — спросил он со слабо выраженным любопытством. — Летал?

— Летал,— сказал я счастливо.— Еще как летал, Толик!

— Здорово? — спросил он недоверчиво.

— Здорово,— сказал я и, пока не остыл, начал рассказывать:— Значит, так. Надеваем парашюты, садимся в кабину. Запустили мотор, проверили управление. «Альфа», я — тридцать первый, разрешите вырывать». — «Тридцать первый, я — «Альфа», вырывать разрешаю». — «Альфа», я — тридцать первый, разрешите взлет». — «Тридцать первый, я — «Альфа», взлет разрешаю»...

— Подожди,— перебил Толик,— а чего ты такой бледный?

— Ерунда,— сказал я,— укачало немного. Ты слушай дальше. «Альфа», я — тридцать первый, разрешите работать».

— Слушай,— вдруг загорелся Толик.— А что, если мы с тобой сейчас проваливаемся и перед нами голая баба, а?

— Дурак ты,— сказал я,— и не лечишься.

— Нет, ты рассказывай, рассказывай,— сказал Толик.

— Иди ты к черту.

Я махнул на него рукой и пошел в сторону стоянки. Туда подошла машина, которая должна была увезти нас в город.

Домой я вернулся около часу дня. Благодаря усилиям Толика мое возвращение прошло без скандала.

В квартире пахло распаренным бельем и мылом. Стиральная машина гудела на кухне, как самолет. Мать вышла из кухни, вытирая намоченные руки о полы халата.

— Привет,— сказал я ей преувеличенно бодрым тоном.— Как вы тут без меня живете?

— Валера,— спокойно сказала мама,— в следующий раз, когда ты захочешь ночевать у товарища, я бы хотела знать об этом заранее.

— Ладно, ладно,— сказал я и прошел в комнату.

Бабушка сидела у окна и читала библию.

Библия была у нее настольной книгой. Еще когда я был совсем маленьким, она читала мне Новый завет вперемежку с «Коньком-горбунком» и «Песней о купце Калашникове». Помню, мне было жалко не столько самого Иисуса, сколько его ученика Петра, которому Иисус предсказал в роковую ночь, что, прежде чем прокричит петух, Петр трижды отречется от него. Так оно и получилось: трижды отрекся Петр от Христа, а потом вспомнил его слова и горько заплакал.

Потом, когда я научился читать, мне нравилось, как пишутся слова в этой книге «Ветхаго и Новаго завета». И еще нравилось, что все касающееся Иисуса писалось с большой буквы: «Истинно говорю тебе, что Человек Сей есть Сын Божий».

Не могу сказать, чтобы бабушка моя была очень набожной, хотя регулярно читала библию и ходила иногда в церковь не молиться, а слушать, как там красиво поют, и сама порой подпевала тоненьким своим голосочком.

Вообще-то голос у нее был нормальный, но пела она всегда тоненько (слезно), и я вспоминал при этом сказку, в которой волку подковали язык.

К бабушкиным религиозным причудам я относился снисходительно, особенно после того, как в седьмом классе наша учительница химии Леонила Максимовна (она работала по совместительству внештатным лектором в обществе «Знание») посредством нескольких химических опытов неоспоримо доказала отсутствие бога. В библию я тоже давно не верил, но то, что все, касающееся бога, писалось там с большой буквы, мне по-прежнему нравилось. При случае мне хотелось о себе самом написать в подобном стиле. Например, как меня сажали в само-

лет: «И взяли Его за Руки Его, посадили Его в кабину. А Плечи Его и Живот Его и все Тело Его привязали ремнями».

Я поприветствовал бабушку (помахал ей рукой и сказал: «Приветик»), прошел к себе в комнату, снял пиджак и повесил на спинку стула. Мама вошла следом за мной и остановилась в дверях.

— Ты есть хочешь? — спросила она.

— Пожалуй, можно слегка подзакусить,— великодушно согласился я.

— Иди мой руки.

Я пошел в ванную, умылся. Вернулся на кухню. Съел две тарелки фасолевого супа, две котлеты с картошкой и с ощущением легкого голода пошел к себе в комнату.

— Ты что собираешься делать? — спросила мама.

— Хочу немного вздремнуть.

— Ты разве ночью не спал? — Мама подозрительно посмотрела на меня.

— Вообще-то спал, но еще немного подремать не мешает.

Я снял рубашку и брюки, повесил на спинку стула, забрался под одеяло и уснул как убитый.

Я проснулся с ощущением, что спал очень долго. Я открыл один глаз и посмотрел на часы — они показывали половину восьмого. В семь я обещал Тане быть возле универмага.

До универмага на автобусе три остановки, пешком минут десять. Десять минут на сборы, пять на то, чтобы что-нибудь пожевать. Пять минут можно еще подремать. Я закрыл глаза.

Через пять минут я решил, что десять минут на сборы слишком много — пяти минут за глаза хватит. За эти пять минут я подсчитал, что на дорогу тоже оставил слишком много — если даже не будет автобуса, быстрым шагом ходьбы минут шесть. Семь от силы. Короче говоря, без десяти восемь я все-таки встал и в трусах побежал в ванную ополоснуться.

Бабушка сидела за швейной машинкой. Мамы не было.

— Физкультпривет,— сказал я бабушке, пробегая мимо.

Вернувшись, я хотел быстро одеться, но брюки куда-то пропали. Ложась спать, я повесил их на спинку стула. Теперь их на стуле не было. Не было и под стулом. На всякий случай я перерыл постель, заглянул под кровать и вышел в большую комнату.

— Бабушка, где мама? — спросил я.

— Мамы нет,— ответила бабушка, продолжая трещать машинкой.— Она ушла в кино.

— В кино — это хорошо,— сказал я.— А где мои брюки?

— А где ты сегодня ночевал? — спросила бабушка.

— Странный вопрос,— удивился я.— Я же сказал: у товарища.

— Если ты ночевал у него, почему же ты весь день после этого спишь?

— У меня летаргия,— сказал я нетерпеливо.— Где мои брюки?

Бабушка оставила машинку и посмотрела на меня из-под очков.

— Твои брюки мама спрятала, чтобы ты никуда сегодня не ходил, а готовился в институт.

— А, в институт...— сказал я.— Хотите, чтобы я стал образованным и интеллигентным человеком, а сами воруете мои штаны. Придется мне идти на улицу в трусах.

— Как хочешь,— ответила бабушка, возвращаясь к любимому делу.

Эта угроза на нее не подействовала. Я вернулся в маленькую ком-

нату и стал рыться в шифоньере в поисках брюк. Брюки я не нашел, но нашел старую мамину юбку из какого-то лохматого зеленого материала. Я взял и примерил ее на себя. Посмотрел в зеркало. А что? Я в ней выглядел не так уж плохо.

Я снова вышел в большую комнату, сказал бабушке:

— Ну, я пошел,— и направился к двери.

— Валера,— остановила меня бабушка,— ты что, серьезно собираешься в таком виде на улицу?

Все-таки она испугалась.

— А что, разве так плохо? — спросил я простодушно.

— Нет, ты, конечно, если тебе самому не стыдно, можешь поступать, как тебе заблагорассудится. Но этим поступком ты поставишь в неловкое положение не только себя, но и нас с мамой. Где это видано, чтобы взрослый мужчина ходил по улицам в юбке?

— Взрослый мужчина,— повторил я.— Во-первых, у взрослых мужчин штаны не отбирают, а во-вторых, тут ничего такого нет, шотландцы, например, взрослые и не взрослые, сплошь и рядом ходят по улицам в юбках.

— Но ты же не шотландец.

— А кто знает? Я же не буду каждому паспорт показывать.

С этими словами я направился к выходу.

— Валерий! — строго сказала бабушка.

Я остановился.

— Я не могу позволить тебе в таком виде выходить на улицу.

— Тогда отдай брюки.

— Хорошо, я тебе отдам брюки, но маме я скажу, что ты меня вынудил.

— Согласен,— сказал я.

Бабушка открыла ящик стола, на котором стояла машинка, и достала брюки. На них были пятна от пыли.

— Прежде чем прятать брюки, надо как следует протирать ящик,— сказал я.— У меня лишних выходных брюк нет.

Я пошел к себе в комнату и, не снимая ботинок, быстро переоделся. Было без пяти восемь.

— Валера,— еще раз попыталась образумить меня бабушка,— зачем ты уходишь, если мама тебе не разрешила?

— У меня дела,— сказал я.

— Какие могут быть на улице дела?

— Разные.

Я вышел.

Когда я пришел к универмагу, было четыре минуты девятого. Я оглянулся вокруг — Тани не было. Хорошо, что пришел раньше я, а не она.

Скамейку под часами захватила группа ребят. Их было много, скамейки им не хватило. Посреди скамейки сидел белообрый парень с гитарой на веревочке и нещадно рвал струны. Остальные, которые сидели от него справа и слева или стояли напротив, покачивались в такт музыке и, делая зверские рожи, что-то такое пели. Песни у них были разные, а припев ко всем песням один:

Эх, раз! Еще раз!
Еще много-много раз!
Лучше сорок раз по разу.
Чем ни разу сорок раз!

При этом один из стоявших парней хлопал себя по ляжкам и тихо взвизгивал:

— Ух-ха!

Шла двадцатая минута девятого, Тани не было.

Под часами остановилась какая-то девушка. Я подошел ближе, посмотрел на нее сбоку. Девушка держала в руке изящную сумочку, на которой был изображен космонавт Леонов, свободно плавающий в космическом пространстве. Подпись под рисунком гласила: «Пролетая над Крымом». Я пригляделся к этой девушке и понял, что Таню в лицо я как следует не запомнил. То ли она, то ли не она. Они сейчас все одинаковы. Делают большие глаза и прически вроде тюрбанов. Я описал вокруг девушки глубокий вираж, посмотрел ей в лицо — ничего не понял. Сделал еще один круг в надежде на то, что если это Таня, то она узнает меня. Девушка взглянула на меня равнодушно и отвернулась. Значит, не Таня. Я отошел к газетному стенду, прочел заголовки: «Не снижать темпы заготовки кормов», «Новые злодеяния расистов», «Москва приветствует высокого гостя», «Демократия по-сайгонски», «Замечательная победа советских ученых», «Переполюх в Белом доме».

Я вернулся к часам.

Ребят с гитарой на скамейке уже не было, на их месте сидели старичок с газетой и старушка с вязаньем. Было без пяти девять. Ну что ж, не пришла — значит, не пришла. Я пошел было по улице в надежде встретить Толика, но тут же вернулся. А вдруг она что-нибудь перепутала и решила, что мы встречаемся не в восемь, а в девять.

Я проторчал там еще ровно двадцать минут и только после этого ушел.

Толика я нигде не встретил, он был уже, наверное, в парке. В парк мне идти одному не хотелось, я вернулся домой.

После полета со Славкой во мне что-то словно бы перевернулось. Где бы я ни был — на работе, дома или на улице, — я все время представлял себе, что летаю.

Мама с бабушкой чувствовали, что со мной что-то произошло, но никак не могли понять, что именно, а я им ничего не рассказывал, понимая, что это бессмысленно — все равно не поймут.

Мать однажды не выдержала и спросила:

— Что ты ходишь все время словно ошумелый? Может, у тебя какие-то неприятности? Неужели ты не испытываешь желания поделиться с родной матерью?

— Нет, мама, у меня никаких неприятностей, — сказал я, — у меня все в порядке.

Вскоре, однако, меня крупно разоблачили. Как-то я вернулся домой с работы раньше обычного. Мама с бабушкой стояли над фанерным ящиком от посылки, в котором у нас хранились документы. Сейчас содержимое ящика было вывалено на стол беспорядочной грудой.

— Чего вы тут роетесь? — спросил я с самым беззаботным видом.

Мама выпрямилась и строго спросила:

— Где твой аттестат?

Я хотел сказать сразу правду, но не решился и уклонился от прямого ответа.

— Какой аттестат?

— У тебя что, много разных аттестатов? — повысила голос мама.

— А, — сказал я, — разве его здесь нет?

— Валера, куда ты дел аттестат?

— Я его не брал, — сказал я.

Мама подошла ко мне.

— А ну, посмотри мне в глаза.

— Да что там смотреть! — Я рассердился и пошел к себе в комнату. — Нет аттестата, я его сдал.

Мама пошла за мной и встала в дверях.

— Куда сдал? — тихо спросила она.

— Куда надо, туда сдал, — сказал я. — В конце концов я уже достаточно взрослый человек и могу сам распоряжаться своей судьбой.

Мама не отступала.

— Я тебя спрашиваю, куда ты сдал аттестат?

— Куда, куда, — сказал я. — В военкомат.

— Зачем? — Несмотря на всю суровость маминого тона, глаза у нее были испуганные. Мне стало ее жалко, и я сбавил тон.

— Mam, ты не сердись, — сказал я, — я подал заявление в летное училище.

— Так я и знала, — сказала бабушка и всплеснула руками.

Мама вошла в комнату и села на кровать.

— Это правда?

— Правда, — сказал я, стараясь не встречаться с ней взглядом.

— И ты все хорошо продумал? — спросила она, помолчав.

— Да, мам, — сказал я. — Я все продумал. Я летал недавно на самолете, меня катал Славка Перков, и я понял, что хочу быть летчиком. Я не хочу быть энергетиком.

— Но почему обязательно энергетиком? — закричала мама. — Ведь есть много других специальностей. Ты можешь стать физиком, металлургом, железнодорожником. Неужели ты не можешь выбрать из всех одну какую-нибудь приличную специальность?

— Я уже выбрал, — твердо сказал я. — Я буду летчиком.

Мама попыталась воздействовать на мои сыновние чувства.

— Валера, — сказала она, — прошу тебя, пойми меня. Если ты будешь летать, я никогда не буду спокойна. Неужели ты не можешь понять, что ты у меня единственный сын. Что если, не дай бог, с тобой что-нибудь случится, я этого не переживу.

Я промолчал.

— Короче говоря, — успокаиваясь, сказала мама, — ты сейчас же пойдешь в военкомат и заберешь документы.

— Да ты что? Кто мне их отдаст? — сказал я.

— Если попросишь как следует, отдадут. В крайнем случае можешь сказать, что мама тебе не разрешает поступать в это училище.

Тут мне даже стало смешно.

— Ну и чудачка ты, — сказал я. — Да что это такое ты говоришь? Как это я пойду в военкомат и скажу, что мама не пускает меня в училище?

— Да, так и скажешь, — сказала мама. — И ничего тут смешного нет.

— Как же не смешно, — сказал я. — Да надо мной там весь военкомат обхохочется. А если будет война, я тоже скажу, что мама не пускает?

— Если будет война, тогда другое дело, а сейчас ты пойдешь и заберешь документы, если не хочешь, чтобы я это сделала сама.

С этими словами мама встала и пошла в большую комнату. Я пошел следом за ней посмотреть, что она будет делать. Она открыла шкаф, вынула из него свой выходной темно-синий костюм с ромбиком (этот костюм она надевала только в самых торжественных случаях) и пошла в ванную переодеваться.

— Если бы ты был хорошим мальчиком, ты бы не стал так волновать свою маму, — хмуро сказала бабушка.

— Значит, я нехороший мальчик, — сказал я и сел на стул.

Мама вернулась из ванной. Под синей жакеткой на ней была прозрачная блузка.

— Ты что, серьезно собралась в военкомат? — спросил я.

— Абсолютно серьезно,— сказала мама, вешая в шкаф свой халат.— Я сейчас же пойду к командиру военкомата.

— Не командир, а начальник,— сказал я.

— Вот я пойду к этому начальнику. Я с ним поговорю. Что это за безобразие? Как это можно мальчика без разрешения родителей записывать в военную школу?

— Мама,— я встал в дверях.— Ты никуда не пойдешь.

— Это еще что такое?— еще больше возмутилась мама.— Отойди от дверей.

— Не отойду,— сказал я.

— Ты, может быть, еще драться с матерью будешь? Отойди сейчас же!

В конце концов я отошел.

— Как хочешь,— сказал я.— Все равно документы тебе никто не отдаст.

— Ну, это мы еще посмотрим,— сказала мама и вышла.

Она вернулась примерно через час, возбужденная и довольная. Начальник сперва не хотел ее слушать, а потом сдался и пообещал затребовать документы обратно.

Я ничего не сказал ей. Я пошел к себе в комнату, лег на кровать. Вошла мама и села рядом со мной.

— Сынок,— тихо сказала она и, как в детстве, погладила меня по голове.— Сыночек. Прости меня, пожалуйста, но я не могла поступить иначе. Если бы ты стал летчиком, я бы этого не пережила.

Я ощущал себя самым несчастным на земле человеком. До каких же это пор мной будут руководить? Когда мне позволят самому отвечать за свои поступки?

У Толика жизнь была тоже не сахар.

Однажды в получку он пересчитал деньги и сказал:

— Порядок. Сегодня иду покупать мотороллер. Пойдешь со мной? Документы для покупки в кредит у него были давно заготовлены. Не заходя домой, мы пошли сначала в сберкассу, там у Толика лежало шестьдесят с чем-то рублей и еще набежало четыре копейки процентов.

Мотороллер мы катили по очереди.

Сначала Толик сидел за рулем, а я толкал, потом толкал Толик, а я сидел.

Мотороллер был весь новенький, жирно смазанный маслом, а передние амортизаторы были еще обернуты вошеной бумагой, чтоб не пылись.

Уже в переулке, недалеко от нашего дома, мы остановились, чтобы передохнуть, мотороллер поставили на дороге, а сами сели на тротуар и закурили.

— Значит, в институт будешь поступать? — спросил Толик.

— Придется,— сказал я не очень весело.— Я уже подал в наш педагогический.

— Ты же в Москву хотел? — удивился Толик.

— Чего я там не видел,— сказал я.— Раз в училище не вышло, поступлю сюда, а там будет видно.

— Слушай,— сказал Толик.— А ты, может, в армию пойдешь. Оттуда в училище попасть легче, чем с гражданки. Там всем, у кого среднее образование, предлагают.

— Ну да?

— Точно тебе говорю. У меня братан двоюродный так поступил. Это меня заинтересовало. Значит, если я провалю экзамены — возь-

мут в армию. Из армии — прямая дорога в училище. Это же просто здорово. Блестящий выход из положения.

— Ладно,— сказал я,— поехали дальше.

Толик взгромоздился на мотороллер, и мы поехали. То есть он поехал, а я толкал. Так, подталкиваемый мною, Толик и въехал торжественно в наш двор.

Во дворе было шумно. Мужчины в беседке забивали «козла». Женщины вывели детей и стояли толпой, разговаривали о своих делах.

Группа пацанов в переулке играла в футбол. Когда мы с Толиком въехали, они сразу свой матч закончили, кинулись к Толику, обступили мотороллер и стали обсуждать его достоинство и недостатки.

Подошла и мать Толика, тетя Оля, которая развешивала во дворе белье. Она так и подошла с оставшимся бельем, перекинутым через руку.

— Это что такое? — спросила она у Толика, кивая на мотороллер.

— Не видишь, что ли? Мотороллер,— сказал Толик довольно бодро.

— А где ты его взял?

— По лотерее выиграл,— сказал Толик.

— Ах ты идиот несчастный,— сказала мать.— Да что же ты врешь, бессовестный.— Она подошла к своему окну (они жили на первом этаже) и постучала свободной рукой.— Федор!

Там долго никто не откликнулся.

— Федор,— повторила она,— выйди-ка на минутку.

Окно растворилось, из него высунулся небритый человек в нижней рубахе.

— Чего кричишь? — сказал он недовольно.— Знаешь ведь: человек с работы пришел, отдохнуть должен.— Но тут он заметил Толика с мотороллером, замолчал и долго с любопытством разглядывал и мотороллер и Толика.

— Что это? — спросил он наконец.

— Не видишь, что ли? Мотороллер,— понуро объяснил Толик, глядя на отца грустными и преданными глазами.

— Мотороллер? — заинтересовался отец.— Надо поглядеть.

Он раздвинул на подоконнике горшки с цветами и вылез наружу прямо через окно. Кроме нижней рубахи, на нем еще были серые галифе и шерстяные носки с дырами у больших пальцев. Он оглядел мотороллер со всех сторон, заглянул под переднее колесо, потом погладил рукой сиденье.

— Вот это машина,— сказал он с явным восхищением и повернулся к Толику:— И небось дорого стоит?

— Он его по лотерее выиграл,— насмешливо сказала мать.

— Да не по лотерее,— сказал Толик,— я пошутил. В рассрочку взял. Восемьдесят рублей всего заплатил, а остальные из зарплаты постепенно вычитать будут.

— Постепенно — это хорошо,— сказал отец одобрительно.— Постепенно — это не то что сразу. А на кой он тебе нужен?

— На работу с Валеркой ездить будем.

— На работу,— согласно кивнул отец.— С Валеркой? Это хорошо. Самое главное — удобно. В автобусе давиться не надо.

— И тебя буду возить,— осмелев, задобрил Толик.

— И меня,— эхом откликнулся отец и, неожиданно развернувшись, влепил Толику такую оплеуху, что он повалился вместе со своим мотороллером на землю и чуть не отдал матери ноги, да она вовремя отскочила.— Чтоб больше я этого мотороллера не видел,— спокойно сказал отец Толика и пошел обратно к окну.

— Дурак старый,— сказал ему вслед Толик, поднимаясь и потирая покрасневшую сразу щеку.

— Что ты сказал? — спросил отец и обернулся.

— Тунеядец кривой, — сплевывая на землю кровь, сказал Толик, хотя отец его был вовсе не кривой и даже не тунеядец.

— А ну подойди! — грозно сказал отец и сделал шаг к Толику.

— Сейчас подойду, — сказал Толик, отступая назад.

— Ну, ладно, — сказал отец, — уж домой придешь — поговорим. — И полез в окно. На каждой ягодице у него было по огромной рыжей заплате.

— Ты с отцом лучше не спорь, — примирительно сказала мать и пошла развешивать дальше белье.

Толик поднял мотороллер и стал смотреть, не погнулся ли руль.

Вечером, когда мы, как всегда, должны были идти в парк, я зашел за Толиком, но, не дойдя до его двери, остановился в коридоре. Из-за двери доносился нечеловеческий крик и звонкие удары ремня по чему-то живому и теплому. Мне стало жаль Толика.

Сочинение мы сдавали в том самом актовом зале, где некоторое время спустя я проходил медкомиссию. Я пришел сюда с созревшим желанием получить двойку.

Окна были распахнуты настежь, ветер гулял по залу и слегка шевелил листки бумаги, аккуратно разложенные на длинных черных столах по три стопки на каждом.

Мы ввалились туда огромной толпой, нас было человек сто пятьдесят или больше, может быть, даже двести. Все сразу кинулись занимать места поудобней; пока я колебался, осталось только четыре передних стола, за одним из них, стоявшим возле окна, уселась девушка в белой блузке с комсомольским значком, вероятно отличница. Уже все расселись, а я стоял в проходе между столами и растерянно озирался в надежде на какое-нибудь место сзади, но там было все забито.

Две преподавательницы, ожидая, пока все успокоится, тихо о чем-то между собой разговаривали. Одна из них, высокая, худая, с крашеными волосами и выдающимся вперед подбородком, подняла голову и посмотрела на меня.

— Молодой человек, вы что, не можете найти себе место? Садитесь сюда. — Она кивнула на стол перед собой.

— Ничего, я здесь, — сказал я и сел рядом с девушкой в белой блузке, хотя мне она (я говорю про девушку) совершенно не нравилась.

Место было не из самых лучших, зато возле окна, которое выходило во двор института, засаженный тополями.

За моей спиной стоял тихий гул, все перешептывались, скрипели стульями и шелестели бумагой. Преподавательницы начинать не спешили и продолжали вполголоса свой не слышный мне разговор.

Потом высокая преподавательница посмотрела на большие мужские часы, что были у нее на руке, и встала.

Она молча обвела аудиторию медленным взглядом, все сразу перестали шуршать бумагой и замерли.

— Товарищи, — сказала она негромким приятным голосом, — сейчас я напишу на доске темы ваших сочинений. Всего их будет четыре. Три по программе и одна свободная. Времени вам дается три часа. Бумаги достаточно. Если кому не хватит, мы дадим еще. Чистовики писать на листках со штампами. Все ясно?

Кто-то там сзади сказал:

— Ясно.

— Я думаю, насчет шпаргалок и списывания вас предупреждать не надо: вы уже люди взрослые и хорошо знаете, чем это грозит.

После этого она подошла к доске и стала писать темы сочинений:

«Образы крестьян в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», «Образ Катерины в пьесе Островского «Гроза» и «Тема революции в поэме Маяковского «Хорошо». Свободная тема называлась: «Моральный облик советского молодого человека».

Когда преподавательница написала это все на доске, все погалдели немного, посуетились, а потом опять стало тихо — началась работа. Девушка в белой блузке спросила, будут ли неточности в цитатах считаться ошибками. Преподавательница ответила, что смотря какие неточности; девушка успокоилась, разложила перед собой бумагу и стала усердно трудиться, закрыв свое сочинение промокашкой, чтобы я не подглядывал.

Я сперва хотел писать по Некрасову и уже вывел на бумаге название темы и стал составлять план, но потом мне стало скучно. Я подумал: зачем я буду писать по Некрасову или еще что-нибудь, если я все равно хочу получить двойку? Может, лучше и не стараться, просидеть все три часа просто так, а потом сдать чистую бумагу — да и все? И я стал смотреть в окно, что там происходит. Но там, собственно, ничего особенного не происходило.

— Молодой человек, вы почему не работаете?

Я поднял голову. Надо мной стояла высокая преподавательница и смотрела на чистую бумагу, которая лежала передо мной.

— Как не работаю? — не понял я.

— Я вас спрашиваю: почему вы ничего не пишете?

— Я думаю, — сказал я.

— Пора бы уже что-нибудь и придумать, — сказала она, посмотрев на свои большие часы. — Прошло полчаса, а вы еще не написали ни строчки.

— Ладно, — сказал я, — я успею.

— Смотрите, дело ваше. — Она пожала плечами и пошла между столами, проверяя, кто чем занимается.

Я подумал, что времени впереди еще много и, наверное, надо чем-то заниматься, а так просто сидеть и смотреть в окошко неудобно, да и смотреть, собственно, не на что.

И тут меня вдруг осенила замечательная идея, я даже не знаю, как это мне пришло в голову, — я решил написать, как я летал на самолете, как Славка давал мне подержать ручку, как он разрешил потянуть ее до отката на себя, а левую ногу вперед, а потом опять ручку на себя и правую ногу вперед, и как самолет кувыркался в воздухе, и как кувыркались и летели навстречу деревья, и как мне было при этом страшно. И писать интересно будет, и двойку наверняка поставят, потому что сочинение не по теме.

Я вот только не знал, с чего начать — то ли с того момента, когда я ночью в сквере встретил Толика, то ли еще раньше, когда мы с Толиком увидели парашютистов во дворе школы, но потом мне показалось, что всего этого будет слишком много, и я начал прямо с аэродрома, как встретил Славку. Я все написал подробно: и как он сидел в курилке, и какой на нем был комбинезон, и какой за поясом висел шлемофон, и как мы ходили упрашивать Ивана Андреича, и как Иван Андреич спорил с белоглазым, и как мы потом со Славкой летели, и как он кричал по радио: «Альфа», я — тридцать первый, вошел в зону, разрешите работать!»

Все это я описал подробно, как что было, кто где стоял, кто что говорил. И я так здорово себе это все стал представлять, что даже и не заметил, как стал говорить вслух, подражая руководителю полетов:

— Тридцать первый, я — «Альфа», работать разрешаю, разрешаю работать, я — «Альфа», как поняли меня? Прием.

— Молодой человек, — услышал я голос высокой преподавательницы, — вы что разговариваете?

Я жутко смутился. Еще чего не хватало — вслух начал разговаривать.

— Да я про себя.

Страшно неловко. Ничего себе, подумает — паренек с приветом.

Преподавательница как-то странно на меня посмотрела, но ничего не сказала, только пожала плечами.

Это меня немного сбило с толку, и я не сразу смог войти в прежний ритм, но потом опять все вспомнил и пошел писать дальше. Я описывал все очень подробно, потому что жалко было что-нибудь пропустить. И про то хотелось написать, и про это, и я не добрался еще до самого полета, как у меня кончилась вся бумага.

— Можно еще бумаги? — спросил я.

— А что, у вас разве уже кончилась? — удивилась преподавательница. Она только что обошла все столы и вернулась на свое место.

— Кончилась, — сказал я виновато.

— Ну, вот возьмите еще.

Я дошел к столу, она пододвинула ко мне лист бумаги.

— Мало, — сказал я.

Она дала мне еще лист.

— Еще, — сказал я.

Она переглянулась со своей соседкой и уставилась на меня.

— Да вы что? — сказала она. — Вы целый роман хотите писать?

— А разве нельзя?

Время, отпущенное на экзамен, уже истекало, а я только дошел до самого главного. «Ручку влево и левую ногу вперед — левая бочка, ручку вправо и правую ногу вперед — правая бочка. Ручку на себя до отказа и левую ногу вперед — левый штопор. Ручку на себя до отказа и правую ногу вперед...»

— Товарищ, вы что гудите?

Я очнулся. Скрестив на груди руки, надо мной стояла высокая преподавательница, а я, поставив ноги на воображаемые педали, тянул на себя воображаемую ручку управления самолетом и изо всех сил изображал губами рев мотора на полном газу.

Сзади кто-то хихикнул. Моя соседка по столу бросила на меня уничтожающий взгляд и отодвинулась, как бы подчеркивая, что не имеет со мной ничего общего.

— Ничего, — сказал я, — я просто так.

Преподавательница отошла.

Вскоре у меня опять кончилась бумага. Преподавательница дала мне сразу листов десять и сказала, что теперь-то уж мне должно хватить наверняка.

— Посмотрим, — сказал я уклончиво.

Время шло незаметно. Я не написал еще и половины, преподавательница посмотрела на часы и сказала:

— Заканчивайте, товарищи, осталось пятнадцать минут.

Девушка в белой блузке положила свое сочинение на преподавательский стол и тихо вышла из зала. За ней сдал свою работу демобилизованный солдат в гимнастерке с отложным воротником, потом косяком пошли остальные. Они молча клали свои листочки на стол и выходили. Осталось человек шесть. Преподавательница ходила между столами и торопила:

— Заканчивайте, товарищи, заканчивайте, время вышло.— Она подошла ко мне.— Заканчивайте.

— Сейчас,— сказал я.

Я все еще писал самое главное. «Ручку на себя, левую ногу вперед. Ручку от себя, правую ногу вперед. Ручку влево, левую ногу вперед. Ручку вправо, правую ногу вперед. Ручку вперед, ногу назад. Ногу вперед, ручку назад...»

Нет, что-то не так. Я зачеркнул это, чтобы написать правильно. «Ручку на себя, ногу от себя. Ногу на себя, ручку от себя...»

В конце концов я запутался намертво. Я поднял голову и ошалелым взглядом окинул аудиторию. Из абитуриентов я остался один. Высокая преподавательница, скрестив на груди руки, стояла передо мной и ждала, не давая сосредоточиться.

— Молодой человек,— сказала она,— может быть, вы думаете, что я вас буду ждать до вечера?

— Сейчас,— сказал я.— Еще две минуты.

— Никаких минут,— сказала она,— сдавайте работу немедленно.

Я отвечать ей не стал, мне было некогда. Мне надо было еще написать про сектор газа, про перегрузки, про то, как на выходе из пикирования оттягивает щеки к плечам, как дрожит и «парашютирует» самолет на малой скорости перед вводом в шторм; мне надо было многое еще рассказать, и я торопился, а преподавательница стояла у меня над головой и все чего-то ворчала.

— Молодой человек.— Она взяла меня за плечо.— Что с вами? Очнитесь!

— Отберите у него бумагу! — взвизгнула другая, сидевшая за столом преподавательница.— Что вы на него смотрите?

Та, которая стояла возле меня, схватила бумагу и потянула к себе. Авторучка оставила на бумаге косую полосу.

— Не трогайте!— закричал я, закрывая бумагу всем телом.— Я сейчас. Еще полминуты.

Но преподавательница дернула бумагу к себе, бумага затрещала, и я отпустил, чтоб не порвать.

— Очень странно вы ведете себя, молодой человек,— сказала преподавательница и понесла мои листочки к столу.

— А ну вас,— сказал я и, закрыв ручку, сунул ее в карман и пошел к выходу.

Я думал, что они меня остановят и отчитают за грубость, но они ничего не сказали: наверное, не хотелось им связываться с психом. Я вышел в коридор.

В конце концов стоит ли ради двойки так уж стараться?

Через день я пошел узнавать оценку. В приемной комиссии было много народу, все толклись возле девушки, сидевшей за боковым столиком.

— Ребята! — пыталась она перекричать всех, кто ее окружал.— Через полчаса оценки вывешат в коридоре, и вы все узнаете. Неужели так трудно подождать полчаса?

Девушка, которая была прошлый раз в белой блузке (сейчас на ней была зеленая кофточка), стояла перед столом секретарши и ныла:

— Девушка, ну пожалуйста, что вам стоит, посмотрите на «У», Уварова.

— Девушка, я вам сказала, через полчаса сами увидите.

— Ну что через полчаса? Ну какая вы странная. Неужели так трудно?

— А вы думаете, не трудно? Вас вон сколько и каждый хочет, чтоб ему сделали исключение,— говорила секретарша, листая журнал.— Как вы говорите? Уварова? Двойка вам, Уварова. Приходите после обеда, получите документы. Вам что, молодой человек?

Демобилизованный солдат в гимнастерке с отложным воротником держал в руках зеленую хлопчатобумажную солдатскую шляпу. Сейчас такие шляпы носят солдаты, которые служат на юге.

— Перелыгина посмотрите,— робко попросил он.

— Девушка, ну как же — двойка? — не уходила Уварова.— Этого не может быть. Я в школе ниже чем на четыре никогда не писала.

— Перелыгин, у вас тройка. Вы идете вне конкурса?

— А как же,— обрадовался Перелыгин.— Мне больше тройки не надо.

— Девушка, вы еще посмотрите, там, наверно, ошибка.

— Уварова,— секретарша устало поморщилась,— я вам сказала все. Документы в отделе кадров после обеда. Ваша фамилия? — обратилась она ко мне.— Важенин? Вы знаете, с вами хочет поговорить Ольга Тимофеевна.

— Кто это — Ольга Тимофеевна? — спросил я.

— Ваш преподаватель. Она сейчас, кажется, в деканате. Поидете прямо по коридору, четвертая дверь направо.

Честно сказать, идти в деканат мне не очень хотелось. Если поставили двойку, о чем разговаривать? Сказали бы, как Уваровой: «Приходите за документами» — и я бы пришел. Спорить не стал бы.

Ольга Тимофеевна сидела на столе и о чем-то разговаривала с черным, похожим на цыгана человеком, он стоял у окна. Мундштук папиросы, которую она держала в руке, был весь перемазан помадой.

Я поздоровался.

— Здравьете,— хмуро ответила Ольга Тимофеевна.— Вы ко мне?

— Да, меня послали,— сказал я.

— Ваша фамилия Важенин? Возьмите стул, посидите. Я сейчас освобожусь. Так вот, Сергей Петрович, я думаю, что этот вопрос мы в ближайшее время решим. Николай Николаевич сказал, что он лично не возражает.

— Ну, хорошо,— сказал Сергей Петрович,— посмотрим, там будет видно.

Он взял со стола большой желтый портфель, а со шкафа снял соломянную шляпу с аккуратно загнутыми полями, попрощался и вышел.

Мы остались вдвоем. Ольга Тимофеевна раскурила погасшую папиросу. Она сидела прямо напротив меня, положила ногу на ногу.

— Так вот что, товарищ Важенин,— заговорила она, не спеша подбирая слова,— я прочла ваше сочинение. Оно написано не по теме.

— Правильно,— подтвердил я охотно.

— Вообще,— сказала она,— у нас не принято, чтобы абитуриенты писали, что хотели, но ваше сочинение мне очень понравилось, и я поставила вам пятерку.

— Пятерку? — Я посмотрел на нее: шутит, не шутит?

Вроде не шутит.

— Там, конечно, были незначительные ошибки, я их сама исправила. Но вообще все сочинение написано так свежо, так выразительно, хороший диалог, точные детали... Я поражена. Из моих абитуриентов еще никто так не писал. Вы занимаетесь где-нибудь в литкружке?

— Нет,— сказал я и сострил: — Может, все дело в генах?

— В каких генах?

— Ну, в обыкновенных. Наследственность. У меня ведь отец писатель. Не слышали — Важенин?

— Нет, — заинтересовалась она. — А где он печатается?

— Да он печатается мало. Он в цирке пишет репризы.

— А, — сказала она.

— Ага, — подтвердил я.

Она положила окурочек в чернильницу и слезла со стола.

— Я очень рада, что познакомилась с вами. У нас в институте есть литературное объединение «Родник». Я им руковожу. У нас там очень способные ребята. Правда, прозаиков мало. В основном поэты. — Она помолчала, подумала и сообщила: — Я, между прочим, тоже пишу стихи.

— Да? — удивился я.

— Хотите послушать?

— С удовольствием.

— Я вам прочту последнее свое стихотворение. — Она отошла к стене, напряглась, вытянула шею и вдруг закричала нараспев:

Гроза. И гром гремит кругом,
Грохочет град, грома гречиху.
Над полем, трепеща крылом,
Кричит и кружится грачиха.

И я, подобная грачу,
Под громом гроз крылом играю.
Куда лечу? Зачем кричу?
Сама не знаю.

При этом на шее у нее вздулись жилы и лицо покраснело от напряжения. Она перевела дух и остановила на мне взгляд, выжидая, что я скажу. Я молчал.

— Ну как? — не выдержала она. — Вам понравилось?

— Очень понравилось, — сказал я поспешно.

— Мне тоже нравится, — искренне призналась она. — Я вообще не очень высокого мнения о своих способностях, да и времени не всегда хватает, но эти стихи, по-моему, мне удались. Вы обратили внимание на аллитерации? Часто повторяющийся звук «гр» подчеркивает тревожность обстановки. «Грохочет град, грома гречиху...» Вы чувствуете?

— Да, это есть, — согласился я.

— А образ грачихи, которая кружит над полем и тяжело машет намокшими крыльями?

— Ну, это вообще, — восхитился я.

— Я послала эти стихи в журнал «Юность», не знаю, напечатают или нет.

— Должны напечатать, — сказал я убежденно. — Если такие стихи не будут печататься...

Она обрадовалась.

— Вы думаете? Мне тоже кажется, что должны, но без знакомства очень трудно пробиться. Печатают только своих.

— Наверно, блат, — согласился я.

— Ну, ладно. — Она поднялась и протянула мне плоскую, в кольцах руку. — Я думаю, что мы еще будем с вами встречаться и поговорим. Всего доброго.

— До свидания, — сказал я.

Иногда мне кажется, что я вообще невезучий человек. В самом деле, ведь вот когда я хотел поступить в институт — я в него не поступил. А когда не хотел и сделал все, чтобы не поступить, — мне ставят пятерку да еще находят литературные данные. А мне эти данные ни к чему. Мне бы попасть в училище.

По устной литературе Ольга Тимофеевна поставила мне пятерку без всяких разговоров. Я только начал ей отвечать и хотел напелсти какую-нибудь чушь, но она меня перебила и сказала:

— Я верю, что вы все знаете.

И поставила оценку. Если бы так все шло дальше, я бы, пожалуй, вытянул на повышенную стипендию, но я вовремя придумал умнейший ход. Иностраный я завалил в пух и в прах, и то только потому, что вместо английского, который учил в школе, пошел сдавать немецкий.

Тут уж я наслаждался вволю. Я отомстил сполна всем, кто пихал меня в этот институт, и всем, кто хотел вырастить из меня местного гения. Такого чудовищного ответа древние стены этого института, наверно, еще не слышали. Экзаменаторша была так потрясена, что, когда ставила двойку, сломала перо. Я с удовольствием предложил ей свою ручку. Ее ручка писала толсто, а моя тонко. Поэтому двойка получилась как бы составленная из двух половинок: жирная голова на тонкой подставке.

Дома вздохов хватило на две недели, но я был доволен. Теперь оставалось только ждать повестку, и ждать пришлось недолго. Повестки мы с Толиком получили одновременно. Нам предлагалось явиться на медкомиссию остриженными под машинку, имея при себе паспорт и приписное свидетельство.

Долго стоял я перед дверью, обитой черной клеенкой. Я нажал кнопку звонка, и звонок где-то там далеко продребезжал еле слышно. Потом зашлепали шаги в мягкой обуви, дверь открылась. Из-за нее выглянула женщина лет тридцати пяти с собранными в узел и заколотыми кое-как волосами. На ней был толстый махровый халат, расписанный красными большими цветами, и домашние тапочки. Эту женщину звали Шурой. Она была второй женой моего отца и, следовательно, приходилась мне мачехой. Она несколько не удивилась моему появлению, хотя сделала вид, что удивилась.

— А, Валера,— сказала она,— проходи.— И отступила в сторону, пропуская меня внутрь.

Отец с Шурой занимали вдвоем отдельную квартиру из двух смежных комнат. Первая комната у них была общей, вторая спальней и кабинетом, в тиши которого отец создавал свои бессмертные репризы, интермедии, скетчи и сатирические куплеты для цирка, областной эстрады и сатирического радиожурнала «На колющей радиоволне».

Шура подошла к дверям второй комнаты, приотворила дверь и громко сказала:

— Сережа, к тебе посетитель.

Отец сидел за машинкой и что-то на ней выстукивал. Когда я вошел, он обернулся и обрадовался то ли моему появлению, то ли возможности оторваться от работы. Встал и протянул мне руку.

— Здравóво. В гости пришел?

— Ага,— сказал я.

— Садись.— Он повернул ко мне кресло и сам сел на стул возле окна.— А я тут, понимаешь, сижу вот целыми днями, барабаню на машинке, даже пальцы болят. Ну, что у тебя нового?

— Ничего особенного,— сказал я.— Просто я ухожу в армию.

— То есть как в армию? — удивился отец.

— Ну пока что еще не совсем в армию,— сказал я,— пока на комиссию, но раз остриженным — значит, уже все.

— Черт, как это все неожиданно,— пробормотал отец.— А что ж с институтом, ничего не вышло?

— Не хочу я в институт,— сказал я.— Если возьмут, пойду в летное училище.

— Мне мама говорила. Ну, я даже не знаю, как к этому отнестись. Ты должен все тщательно продумать, потому что профессия — такая вещь, которую надо выбирать на всю жизнь. Поэтому ты должен трезво подумать, может быть, это просто временное юношеское увлечение, и не больше. Профессия летчика уже давно перестала быть романтической. Но с институтом, конечно, можно и не спешить. Я учился после войны, будучи уже совершенно взрослым человеком. Ты уже в садик ходил.

Я вспомнил, что именно в то время, когда я ходил в садик, он от нас и ушел. Отец, видимо, тоже вспомнил это же, потому что в этот момент он смеялся. Да, как раз тогда, когда я ходил в садик, Шура было примерно столько лет, сколько мне сейчас, они вместе учились в университете, и там у них это все получилось.

Шура просунула голову в дверь.

— Вы обедать будете?

— Конечно, будем,— сказал отец.

— Ну так идите, уже готово.

— Сейчас.— Отец подождал, пока она скрылась, повернулся ко мне: — Да, ты знаешь, Валера, я хочу тебя попросить об одной вещи, мне, правда, как-то очень неловко...— Он замялся и понизил голос.— Но на всякий случай, если за столом зайдет какой-нибудь разговор, не говори, что я деньги вам приношу и все такое. Нет, ты ничего такого не подумай, это все неважно и деньгами я распоряжаюсь сам, но чтобы просто не было лишних разговоров.

Он встал, и я встал тоже. Я посмотрел на него. Он быстро отвел от меня взгляд и стал в замешательстве перебирать на столе бумаги. Он был в эту минуту такой жалкий, что мне стало как-то не по себе. Ведь мать мне всегда говорила и я сам это знал, что отец мой очень хороший и умный человек. И как же так получается, что из-за какой-то женщины, как бы ею ни дорожил, он позволяет себе говорить такие слова? Но я, конечно, ничего ему не сказал. Я только пробормотал невнятно:

— Хорошо, папа.

— Ну, ладно,— сказал он с наигранной бодростью, как бы давая понять, что разговор на эту щекотливую тему окончен.— Пошли обедать.

Мы вышли в большую комнату. Стол был уже накрыт. Шура разливала суп по тарелкам.

— Водку пить будете? — спросила она.

— Конечно, будем,— сказал отец и подмигнул мне.— Употребляешь?

— Да так,— сказал я,— если в компании.

— Ну, сегодня сам бог велел,— сказал отец.

Шура пошла на кухню и принесла начатую поллитровку «столичной» и три рюмки.

— Ты знаешь,— спросил ее отец,— что Валерка в армию уходит?

— В армию? — Она расставляла рюмки и была очень занята этим делом.— Когда?

— На днях,— сказал я.

— И в какие же части?

— Пока неизвестно.

Шура пробежала взглядом по столу — все ли в порядке — и села. Мы сели тоже.

— Ну что ж,— сказала Шура.— Армия приучает человека к дисциплине. Мой начальник Алексей Аркадьевич всегда говорит, что он

многими своими качествами обязан именно армии. Ну так что? — Она посмотрела на меня, потом на отца. — За него и выпьем?

— Да, конечно, — сказал отец.

Мы подняли рюмки и чокнулись.

— Ну, будь здоров.

Мы выпили. Все потянулись вилками к селедке, лежавшей на блюде посреди стола. Она была жирная, густо посыпана луком.

— Селедка — прелесть, правда? — отец обратился ко мне.

Селедка как селедка.

— Хорошая, — сказал я.

— Шура очень хорошо умеет ее разделявать.

— Ладно подлизываться, — сказала Шура, подвигая к себе тарелку с супом.

Мы, как по команде, дружно застучали ложками.

— Ты писать-то хоть будешь? — спросил отец.

— Конечно, — сказал я.

— Хоть изредка, — сказал отец.

— Раз в неделю, — пообещал я.

— Нет, раз в неделю не будешь, — сказал отец. — Надоест. По себе знаю. Я сам, когда служил в армии, даже во время войны, не очень любил писать письма. Так что, если раз в месяц черкнешь пару строк — жив-здоров, — и то будет хорошо.

Мы долго и сосредоточенно ели суп, потом Шура положила нам в эти же тарелки жаркое. Мы молчали, я несколько раз поднимал глаза, встречался со взглядом отца, и взгляд этот был очень жалостливый.

Мне казалось, что отец что-то хочет сказать, да все как-то то ли не решается, то ли не знает, с чего начать. Потом он положил вилку, посмотрел на меня в упор и сказал неожиданно:

— А ты вообще понимаешь, что сейчас происходит?

— В каком смысле? — спросил я.

— В обыкновенном. Твои детство и юность кончились. Начинается новая трудная жизнь. До меня это как-то не сразу дошло. А до тебя дойдет и подавно не скоро. Все слишком неожиданно. Надо бы тебе подарить что-нибудь.

— Не надо мне ничего, папа, — запротестовал я.

— Нет, надо.

Он быстро снял с руки свои часы и протянул мне.

— Держи.

Шура метнула на меня быстрый взгляд и сосредоточенно стала нализывать картошку на вилку. Надвигалась гроза. Я это понял по тому, как напряглась Шура.

— Не надо, — сказал я, следя за ее движениями.

— Надо, — настойчиво сказал отец. Он перегнулся через стол и надел мне часы на руку.

— В самом деле, зачем мальчику золотые часы? — не выдержала Шура.

— Он не мальчик, — строго сказал отец. — Он в армию уходит.

— Дело, конечно, твое, — пожала плечами Шура. — Только их у него украдут. Алексей Аркадьевич говорил, что у него однажды из-под подушки вытащили фотоаппарат.

— Меня совершенно не интересует, что говорит твой Алексей Аркадьевич. Это мой сын и мои часы. И я имею полное право, никого не спрашивая, подарить свои часы своему сыну.

— Пожалуйста, делай что хочешь, я тебе ничего не говорю, — обиделась Шура.

— Нет, ты говоришь,— повысил голос отец.— Ты говоришь совершенно определенно, что я не должен дарить свои часы своему сыну.

Шура ничего не ответила, уткнулась глазами в тарелку. Наступило долгое тягостное молчание.

Шура отодвинула тарелку, встала.

— Когда поешь,— сказала она отцу,— убери, пожалуйста, со стола.— И ушла в соседнюю комнату.

Отец посмотрел на меня виновато.

— Обиделась,— сказал он.— Ты не думай, она хорошая, только иногда скажет что-нибудь, не подумав, потом сама жалеет.

Из соседней комнаты снова вышла Шура. Она уже оделась и расколола волосы. Вид у нее был деловой.

— Ты не знаешь, где расческа? — спросила она.

— Ты собираешься уходить? — спросил отец.

— Да.

— Совсем?

— Совсем. Можешь оставаться один и создавать свои великие творения в одиночестве. Валера, ты можешь гордиться своим отцом. Он у тебя писатель. Инженер человеческих душ. Он пишет репризы для цирка. «Бип, что у тебя в чемодане?»—«У меня в чемодане теща». Ха-ха-ха!

Она нашла расческу и снова ушла в другую комнату.

— Ничего, это пройдет,— сказал мне отец.— Ты не обращай внимания.

— Я не обращаю,— ответил я.

Снова вышла Шура. В руках она держала несколько листов бумаги.

— Валера,— сказала она,— ты знаешь, что твой отец пишет роман?

— Шура,— тихо сказал отец.— Неужели тебе не стыдно?

— Мне очень стыдно,— сказала Шура и подняла листочки над собой.— Вот многолетний труд. Семнадцать страниц за двенадцать лет. Взыскательный художник. А какой стиль!— Она поднесла бумагу к глазам, прочла первую строчку:— «Море было зеленое». Море было зеленое...— Она повернулась к отцу.— Ты видел когда-нибудь зеленое море?

— Море бывает всякое,— сказал отец.— Синее, лиловое, черное, зеленое и даже, если хочешь знать, красное во время заката.

— Валера,— сказала Шура.— Ты видел когда-нибудь зеленое море?

— Я море вообще не видел,— сказал я поспешно.

— Очень жаль,— сказала Шура и ушла снова в другую комнату.

Отец стоял, обхватив руками голову.

— Какой стыд,— бормотал он.— Какой стыд!

Мне стало неловко, я понял, что делать здесь больше нечего.

— Я пойду, папа,— сказал я.

— Ладно, иди,— вздохнул отец.— Только матери не рассказывай. Ладно?

— Ладно. До свиданья, папа.

— Что же ты так уходишь? Я уезжаю в командировку и, наверное, не смогу тебя проводить. Давай простимся, как полагается.

Мы обнялись. За его спиной я незаметно снял с руки часы и положил на стол. Отец прошел со мной до дверей и хлопнул меня по плечу ободряюще:

— Не забывай, пиши.

— Ладно,— еще раз пообещал я.

Я спустился на одну площадку. Я посмотрел на отца, и мне показалось, что у него глаза полны слез. Я нагнул голову и медленно пошел по лестнице дальше.

Еще когда я учился, в десятом классе у нас был такой случай. Боб Карасев объяснился в любви Ленке Проскуриной, с которой сидел за одной партой. Ленка сказала ему: «Нет». Тогда Боб пошел домой, напустил полную ванну воды, залез в воду и вскрыл себе вены лезвием от безопасной бритвы. Его потом еще спасли.

Таких людей, как Боб, я не понимал никогда. Любил ли я кого-нибудь в жизни? Маму любил. Бабушку, несмотря ни на что, любил. А так, чтобы влюбиться в какую-нибудь девчонку, да еще резать из-за нее вены — на это я никогда не был способен. Может быть, это плохо. Учительница химии Леонила Максимовна говорила, что настоящего человека должен по-настоящему любить и по-настоящему ненавидеть. Ненавидел ли я кого-нибудь? Нет, пожалуй. Может, некого было. За всю жизнь не было у меня никаких врагов; были, правда, кое с кем мелкие стычки, но они быстро забывались и все проходило. Я не умел долго ни злиться, ни обижаться на кого-нибудь и не понимал людей злопамятных, обидчивых, непримиримых. Впрочем, я многого не понимал. Не понимал своего отца. Я бы понял, если бы знал, что с мамой ему было плохо, а с новой женой хорошо. Но он любил меня и хорошо относился к маме, а жил все-таки с этой женщиной, которая его не любила. Я был уверен, что она его не любила. Но он, наверное, думал иначе.

Я шел по широкой улице, где пронесились автомобили и гремели трамваи. Скупое светило неяркое, но пока еще теплое осеннее солнце. Забираться в трамвай не хотелось, я шел пешком. Пройдя несколько остановок, я увидел на противоположной стороне улицы парикмахерскую, вспомнил, что мне надо постричься. На призывной пункт полагалось явиться постриженным под машинку — это указано было в повестке.

В парикмахерской все мастера были заняты.

Очередь впереди меня состояла из одного старичка с аккуратно протянутыми через обширную плешь длинными и редкими рыжеватыми прядями. Он сидел за низким полированным столиком и листал старые газеты. Я тоже взял со стола газету и стал ее разглядывать.

В это время из зала вышел очередной клиент, от него так и несло одеколоном. Старичок, который был передо мной, с газетой в руках подошел к двери, заглянул в зал и сказал мне:

— Идите. У меня постоянный мастер.

Тоже еще мне, старый пижон. У него постоянный, видите ли, мастер. Я положил газету и встал.

— Следующий! — сказала парикмахерша и обернулась. И я ее сразу узнал. Это была Таня. И как это я мог думать, что не узнаю ее?

— Привет, — сказал я, подходя к ее креслу.

— Здравствуйте, — сказала она, — садитесь. Польку или полубокс?

— Под ноль, — сказал я. — Ты меня разве не узнаешь?

Она равнодушно скользнула взглядом по моему отражению в зеркале и сменила ножи в электрической машинке.

— Не узнаю.

— Я — Валерка, — сказал я, задирая к ней голову. — Помнишь, в милиции вместе сидели?

— Не помню.

— Как же, — обиделся я. — А потом мы с тобой гуляли, стояли на лестничной площадке и даже... Ну, разве не помнишь?

— Не помню, — жестоко повторила она и сильно надавила мне пальцами голову. — Не вертись.

Она включила машинку и провела первую борозду посреди головы. Первые пряди моей роскошной прически упали на белое покрывало.

Она нагнулась ко мне и тихо спросила:

— Целоваться-то научился?

— Узнала? — обрадовался я.

— Сразу узнала, — сказала она. — Еще как ты первый раз заглянул, я тебя в зеркале увидела. В армию, что ли, уходишь?

— Откуда ты знаешь?

— По прическе догадалась. Жалко, волосы хорошие.

Ровно гудела машинка, и Таня деловито водила ею по моей голове, и я смотрел на свое отражение, которое казалось мне все более уродливым.

— Голова у тебя какая-то шишковатая, — сказала Таня. — Говорят, такие только у умных людей бывают.

— Что ж ты тогда не пришла? — спросил я. — Когда у часов договаривались встретиться.

— А ты разве приходил?

— А как же. Я там полтора часа проторчал.

— Полтора часа? — удивилась она. — А я, знаешь, не хожу на эти свиданки. Договоришься с каким, так он тебя обманет, пойдешь — одно расстройство.

Я посмотрел в зеркало на свой безобразно голый череп и без всякой надежды спросил:

— Может, тогда сегодня встретимся?

— Можно, — сказала она, сдергивая покрывало. — Пятнадцать копеек.

Мы подошли к кассе, я заплатил, а она расписалась в ведомости.

— Я в семь часов кончаю работу. Приходи сюда. — Она обернулась к двери: — Следующий!

Вечером мы сидели в парке на лавочке недалеко от плакатной экспозиции «Мы покоряем космос». Вращающийся фонтан рассыпал по кругу сверкающие в электрическом свете брызги. По радио кто-то читал «Мощарта и Сальери» таким голосом, будто передавал сообщение ТАСС.

Рядом с нами сидели молодые муж и жена, оба в серых костюмах. Муж покачивал стоявшую перед ним детскую коляску, равнодушно глядя на проходящих мимо людей.

На открытой эстраде шел концерт, приятный женский голос исполнял самую популярную песню сезона «Ты не печалься, ты не прощайся».

— Это хорошо, что ты пришел в парикмахерскую, — неожиданно сказала Таня. — Если б я тебя встретила на улице или хотя бы здесь, в парке, первая ни за что бы не подошла.

— Это еще почему? — удивился я.

— Из гордости. Как говорится, чем девушка горже и грубей, тем лучше качество у ней, — сказала она со значением.

— Как? — не понял я.

Она повторила.

— И у тебя хорошее качество? — поинтересовался я.

— У меня очень хорошее, — ответила она серьезно, но тут же поправилась: — Смотря, конечно, в каком смысле. Если насчет характера, то ты не надейся, от меня просто так ничего не добьешься.

— Да я от тебя ничего не хочу добиваться, — смутился я. — Я просто так встретил тебя и позвал. Если не хотела, могла не идти.

— Нет, я вообще-то не против, если по-человечески, с уважением, если погулять хорошо да подружиться месяц-другой, а не в виде корыстных целей.

— Да что ты несешь? — возмутился я. — Какие у меня могут быть к тебе корыстные цели?

Вот уж не думал, что такая дура. На вид вроде нормальная, тогда,

в милиции, мне даже понравилась, а тут на тебе—прорвало. Я уже пожалел, что пригласил ее в парк. Лучше б дома лежал, книжку читал.

На летней эстраде раздались аплодисменты, а потом, видно на «бис», певица снова запела «Ты не печалься».

— Я раньше тоже пела в самодеятельности,— сказала Таня.— Исполняла романсы. «Средь шумного бала, случайно...» — закричала она нарастав дурным голосом.

Ребенок в коляске проснулся и заплакал. Отец зашикал на него и стал остервенело трясти коляску. Женщина посмотрела на Таню осуждающе и сказала:

— Можно бы и потише. Ребенка вот разбудили.

— С ребенком надо в детский парк ходить,— огрызнулась Татьяна.— А это взрослый, культуры и отдыха.

— У вас-то никакой культуры и нет,— сказала женщина.

— А у вас есть? — поинтересовалась Таня.

Я не знал, как себя вести. Первым нашел выход из положения молодой отец.

— Пошли,— коротко приказал он жене и, поднявшись, пошел в сторону танцплощадки, толкая перед собой орущую во весь голос коляску. Женщина тоже поднялась и пошла следом.

— Культурная! — крикнула вслед ей Таня.— Ты хоть рубашку убрала бы под платье, культура! — Довольная, она повернулась ко мне:— Ничего я ее отшила, скажи?

— Ничего,— сказал я.— Можешь за себя постоять.

— Да уж спуску не дам никому, пожалуй,— сказала она с сознанием собственного достоинства.— Меня отец так учил. У тебя-то отец есть?

— Есть,— сказал я.

— А где он работает?

— Дома.

— Кто ж это дома работает? — не поверила она.

— Отец. Он писатель,— пояснил я неохотно.

— Писатель? — Она посмотрела на меня недоверчиво.— И чего же он написал?

— Он пишет репризы для цирка. Знаешь, что такое репризы?

— Нет.

— Ну вот, например: «Бип, что у тебя в чемодане?» — «У меня в чемодане теща». Ха-ха-ха!

Реприза произвела неожиданный для меня эффект. Таня задержалась и тихо поползла с лавки.

— Ты что? — Я подхватил ее под мышки, чтобы она не свалилась.

— Теща? — со слезами на глазах повторяла она, корчась от смеха.— Ой, не могу! Теща в чемодане! А как же она туда попала?

— В каком смысле? — не понял я.

— Я спрашиваю: чемодан большой или теща маленькая?

— А черт ее знает.

Мне стало скучно. Я подумал, что хорошо бы найти где-нибудь Толика, может, он хоть отчасти взял бы ее на себя. Я даже посмотрел в оба конца аллеи в надежде, что он откуда-нибудь да появится, но его нигде не было видно, и я совсем скис. Черт знает что. Через несколько дней в армию, каждый вечер на учете, а тут сиди и думай, как теща могла попасть в чемодан. Мне уж пора о своем чемодане подумать. Хотя думать, собственно, о нем нечего. Только бы как-нибудь не промахнуться, попасть в училище. А то вдруг запихнут в пехоту и будешь — «кругом, бегом, встать, ложись». И так три года. А три года — это почти институт.

Я думал о своих делах, а Таня что-то рассказывала. Я ее не слушал.

но она не замечала, потому что ей надо было рассказывать независимо от того, слушают ее или нет.

— А вот когда я была совсем маленькая...— сказала она и вдруг замолчала.

Я обратил внимание на эту фразу только потому, что она была последняя.

— И что было, когда ты была маленькая? — спросил я.

Она ничего не ответила. Я заметил, что она как-то странно жметс ко мне плечом, а лицо отвернула и закрыла рукой, словно пыталась спрятаться от кого-то.

— Что с тобой? — спросил я.

— Молчи! — ответила она шепотом.

Я бросил взгляд на аллею и гут же все понял. Медленной походкой к нам приближался Козуб. Он был гладко прилизан, в черном костюме с черным галстуком бабочкой на белой рубаше.

— Здорово! — поприветствовал он, поравнявшись со мной, и остановил.

— Привет! — ответил я неохотно.

Таня все еще прикрывала лицо ладонью.

— Чего прячешься? — обратился к ней Козуб.— Чего прячешься?— повторил он свой вопрос.

— А я и не прячусь.— Таня убрала руку.— Просто так заслони-лась, смотреть на тебя неохота.

— Неохота,— зашипел Козуб, приближаясь к ней.— А когда я на тебя деньги тратил, охота было. У, сука позорная, сейчас я тебе глаз выну.— С этими словами он ткнул ей пальцем в лицо, но она вовремя увернулась.

Мне ничего не оставалось больше делать, как встать между ними.

— Отойди,— сказал я Козубу и подвинул его плечом.

— Не лезь! — окрысился на меня Козуб.— Не лезь, говорю, если не хочешь по мозгам заработать.

Я разозлился. Обидно, когда тебе так угрожают, да еще вот при девушке. И тут у нас пошел дурацкий такой разговор.

— От тебя, что ли, я заработаю? — спросил я.

— А хоть бы и от меня.

— Смотри, как бы сам не схватил по шее.

— Уж я-то не схвачу.

— А если схватишь?

— Пошли, потолкуем.

Козуб схватил меня за рукав и потащил к кустам. Я вырвал руку и пошел следом за ним. Мы стали за кустами друг против друга, чтобы продолжить наш содержательный разговор.

— Ну, чего надо? — спросил Козуб, задыхаясь от ярости.

— А тебе чего?

— А мне ничего.

— Ну и мне ничего. А девушку не трогай.

Козуб скривился презрительно.

— Девушку. Да у этой девушки таких, как ты, знаешь, сколько было?

Я схватил его за галстук.

— Давай отсюда проваливай, а то я тебе не знаю что сделаю.

Этого я действительно не знал.

Козуб вырвался, поправил галстук.

— Ты рукам воли не давай,— сказал он, охорашиваясь передо мной, как перед зеркалом.— Жалко, тут мусора ходят, а то бы я тебе сейчас рыло начистил.

Он положил руки в карманы и наискось через газон пошел в сторону танцплощадки. Я вернулся к Тане. Она сидела, не шелохнувшись, на прежнем месте.

Я сел с ней рядом. Не поднимая головы, острым носком туфли она чертила что-то перед собой на песке. Я достал сигареты.

— Дай закурить,— попросила она.

Я дал. Прикуривая, она бросила на меня быстрый, настороженный взгляд.

— Ты думаешь, у меня с ним чего было? — спросила она.

— А мне все равно,— сказал я.

Мне действительно было все равно.

— До чего же противные мужики,— сказала она с чувством.— Два раза в ресторан сводил и думает, что теперь я ему все должна.

— Ладно, пошли отсюда,— сказал я.

Она мне за этот вечер порядком поднадоела. А впереди еще предстоял длинный путь до ее дома с разговорами. Молчать, судя по всему, она не умела.

На мое счастье, у выхода из парка нам встретился Толик. Он куда-то торопился, идя нам навстречу, и лицо его выражало крайнюю озабоченность. Я загородил ему дорогу, он наткнулся на меня и долго стоял, ничего не понимая, словно соображал, как преодолеть это неожиданно возникшее на пути препятствие.

— Ты куда? — спросил я.

— Да я... Это самое... Слушай.— Он приходил потихоньку в себя.— Ты не видел этих самых... как их... Олю и Полю?

— Нет,— сказал я,— не видел.

— Вот бабы. Никогда нельзя верить. Договорились в кино смотреть, я пошел доставать деньги, вернулся, а их уже нет.

Таня стояла в стороне, разглядывая фотовитрину «Не проходите мимо».

— Да брось их,— сказал я Толику.— Пошли лучше с нами.— Я кивнул в сторону Тани.

Увидев Таню, Толик оживился.

— Твоя, что ли? — спросил он шепотом.

— Ага,— ответил я равнодушно.— Ты же ее знаешь.

— Вообще-то знаю, но незнаком,— сказал Толик грустно.— Баба, конечно, в порядке.

— Бери ее себе,— щедро предложил я.

— А ты как же? — спросил он.

— Ничего,— сказал я.— Как-нибудь перебьюсь.

Мы подошли к Тане, и я их познакомил. Толик протянул ей руку и представился, как всегда, со значением:

— Анатолий.

Она ответила:

— Очень приятно.

Мы вышли из парка. Из-за крыш домов выступила полная луна. Она светила так ярко, что вполне можно было выключить в городе все электричество.

Толик и Таня быстро нашли общий язык. Когда мы выходили на пустырь, Толик сказал ей почти серьезно:

— Если бы мне попалась такая девчонка, я бы на ней женился.

— Шути любя, но не люби шутя,— обиделась Таня.

— Да я разве шучу? — сказал Толик.— Я серьезно.

— В армии сперва отслужи, а потом женихаться.

— А что армия? — возразил Толик.— В армии женатому милое дело. Жена когда посылочку пришлет, когда сама придет.

— Ну, давайте я вас зарегистрирую,— предложил я, кивнув в сторону темневшего впереди будущего Дворца бракосочетания.

Идея пришлась Толику по вкусу, но Таня обиделась.

— Найди себе какую-нибудь дурочку и с ней шутки шути,— сказала она.— А я — за серьезные отношения.

Домой мы с Толиком возвращались во втором часу ночи. Небо было затянуто тонкими облаками. Лунный свет сочился сквозь облака, расплываясь, как масло на сковородке. Единственная лампочка возле Дворца бракосочетания теперь горела ярко и весело.

Если бы знать, что ждет нас возле этого Дворца, мы бы обошли его стороной, но мы ничего не знали и поэтому шли мимо него напрямую — оба торопились домой.

Когда мы их увидели, было слишком поздно менять направление. Их было человек шесть или семь. Они стояли кучкой возле стены и вполголоса переговаривались. Отдельных слов не было слышно, шел только общий гул от общего разговора. Я толкнул Толика в бок, но он уже сам все увидел. Не стовариваясь, мы замолчали и стали забирать немного в сторону, хотя надо было просто повернуть и бежать со всех ног обратно. Но было бы странно и стыдно бежать ни с того ни с сего, просто увидев людей, которые стоят и мирно разговаривают между собой.

— Эй, ребята! — От стены отделилась длинная темная фигура и направилась к нам.

— Грек! — упавшим от страха голосом шепнул Толик.

Тут уж надо было бежать, не раздумывая, но мы стояли как вкопанные, я почувствовал в коленях такую слабость, что, если бы и захотел, вряд ли смог двинуться с места.

Грек подошел вплотную. От него несло водкой, но на вид он был совершенно трезв. Он только сутулился и поеживался: видно, давно здесь стоял и продрог. В руке он держал папиросу.

— Ребята, закурить есть? — спросил он миролюбиво.

— У него есть,— услужливо сказал Толик, кивнув в мою сторону.

Делать было нечего. Я достал сигареты и молча протянул Греку.

В конце концов, может, правда человеку надо просто закурить, и ничего больше. Если разобраться, мы же их не трогаем, идем себе мимо. И нас совершенно не касается, зачем они здесь собрались и что делают.

Грек повертел в руках сигареты, вынул одну и засунул обратно.

— «Памир» я не курю. У меня от них горло дерет,— сказал он и швырнул сигареты на землю.

— Зачем же бросать сигареты? — не удержался я.

Когда мне хочется что-то сказать, я говорю, не думая о последствиях. Такой дурацкий характер.

— Да что тебе, жалко? — поспешил исправить мою ошибку Толик. Он нагнулся и поднял сигареты.— На вот.

Грек резко ударил его по руке. Сигареты снова упали на землю.

— Никогда не подбирай ничего с земли,— сказал он и, обернувшись, крикнул в темноту: — Козуб!

От стены отделилась еще одна темная фигура и приблизилась к нам. Теперь все было более или менее ясно. Козуб пожаловался Греку. Теперь меня будут бить. И Толика за компанию, наверное, тоже.

— У тебя какие сигареты? — спросил Грек, когда Козуб подошел.

— «Шипка».— Козуб торопливо полез в карман.

— Это другое дело,— удовлетворенно сказал Грек.

Козуб протянул ему сигареты и зажигалку. Вспыхнул огонь и запахло бензином. Прикурив, Грек поднес зажигалку прямо к моему носу, я слегка отстранился.

— Этот, что ли? — спросил Грек.

— Этот, — тихо ответил Козуб.

В то же мгновение я получил такой удар в нос, что у меня потемнело в глазах. На ногах я все-таки удержался. Я взвыл от боли и кинулся на Грека, но не смог его ударить ни разу: какие-то два типа из этой компании подскочили и схватили меня сзади за руки. Я попробовал отбиваться ногами, но тут подскочил кто-то третий. Он лег на землю и обхватил мои ноги руками.

— За что вы меня бьете? — спросил я.

Вопрос был, конечно, бессмысленным.

— Мы не бьем, а наказываем, — сказал Грек. — Ты зачем обижал нашего товарища? — Он кивнул на Козуба.

— Да кто его обижал? Я просто заступился за девушку.

И я начал путано объяснять, что когда Козуб приставал к Тане, у меня просто не было никакого другого выхода, что любой на моем месте поступил точно так же.

Грек меня выслушал очень внимательно.

— Значит, ты считаешь, что Козуб был не прав? — спросил он участливо.

— Да, — сказал я.

Он повернулся к Козубу.

— Ты слышал, что он говорит?

— Слышал, — ответил Козуб.

— И что же ты терпишь? А ну вмажь ему, чтоб было все справедливо.

Козуб не заставил себя долго упрашивать. От второго удара у меня потекла из носа кровь.

— Ребята, да бросьте вы, — заныл неожиданно Толик. — Неужели из-за какой-то бабы нужно бить человека? Ну, побаловались, и ладно. Пошли по домам.

Грек повернулся к нему, Толик умолк и испуганно съезжился.

— Ты кто такой? — спросил Грек.

— Это его дружок, — сообщил Козуб. — Они вместе работают.

— Дружок? — оживился Грек. Ему в голову пришла замечательная идея. — А ну врежь-ка ему по-дружески. — Он подтолкнул Толика ко мне.

Толик попятился назад.

— Да ну бросьте шутить, ребята! — На своем лице он изобразил понимающую улыбку. — Уже поздно, домой пора, ребята, не надо шутить.

— А с тобой никто и не шутит. — Грек снова толкнул его вперед. — Врежь, тебе говорят, и пойдем по домам.

Толик отпрыгнул в сторону, хотел убежать, но Грек вовремя поставил ногу, и Толик упал.

— Ребята, отпустите! — закричал он. — У меня мать больная, у меня отец инвалид Отечественной войны!

Он боялся подняться и ползал на четвереньках, пытаясь уползти прочь, но, куда бы он ни поворачивался, всюду натыкался на чьи-то ботинки, кто-то загораживал ему путь из этого круга. Потом Грек схватил его за шиворот и сильно встряхнул. Затрещала рубаха. Толик вскочил на ноги, заметался, обращаясь то к Греку, то к Козубу, то ко мне:

— Ребята, ну что вы? Ну бросьте! Ну зачем?

Грек схватил его снова за шиворот и подтащил ко мне. Толик хныкал и пытался сопротивляться.

— Бей! — с угрозой сказал ему Грек.

— Валерка, — заплакал Толик, — ты же видишь — я не хочу, они меня заставляют.

— Бей! — повторил Грек и ребром ладони ударил его по шее.

Толик нерешительно поднял руку, мазнул меня по щеке и повернулся к Греку, глазами умоляя его отпустить. Греку было мало и этого.

— Разве так бьют? — сказал он. — Бей, как положено.

— Не могу, — сказал Толик, пятась прочь от меня. — Слышь, Грек, я не могу. У меня мать больная, у меня отец...

— Сможешь, — сказал Грек.

Он схватил Толика за ворот так, что даже в темноте мне показалось, что лицо Толика посинело. Толик беспомощно засучил ногами.

— Ну! — Грек подтянул Толика снова ко мне и отпустил.

— Грек, — заплакал Толик. — Отпусти. Отпусти, слышь, я тебя очень прошу.

Подлетел Козуб.

— Ах ты гад! Бей, говорят тебе!

Изо всей силы он дал Толику пинка под зад. Толик, схватившись за зад, завыл и вдруг с нечеловеческим воплем бросился на меня.

Меня крепко держали, я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Я мог только вертеть головой. И когда я наклонял голову, Толик бил меня снизу, а когда я пытался отвернуться, он бил сбоку.

Я очнулся от холода, а может быть, оттого, что пришло время очнуться, и, придя в себя, почувствовал холод. Сначала мне показалось, что я лежу дома на кровати и с меня сползло одеяло. Не открывая глаз, я пошарил рукой возле себя, и рука прошла по чему-то мокрому, как я потом понял — это была облитая росой трава. Тогда я открыл глаза, но ничего не увидел. Так бывает, когда тебя мучат кошмары, ты заставляешь себя проснуться и вроде уже даже проснулся, но все еще видишь кошмары и надо приложить нечеловеческие усилия, чтобы разодрать веки по-настоящему.

Приложив нечеловеческие усилия, я увидел перед собой Толика. Он сидел, сгорбившись, надо мной и, глядя куда-то мимо, громко икал. Лицо его мне показалось большим и расплывчатым, оно заслоняло все небо. Небо было бледное, с красными отблесками на перистых облаках — дело, видимо, шло к рассвету.

Увидев, что я очнулся, Толик перестал икать и уставился на меня с выражением не то страха, не то любопытства.

— Ты меня видишь? — тихо спросил он.

Я его видел сквозь какие-то шелки, все распухло, было такое ощущение, словно на лицо положили подушку и проткнули в ней маленькие дырки для глаз.

— Вижу, — сказал я.

Тогда Толик лег на меня и, затрясшись всем телом, заплакал превривисто, гулко и хрипло, словно залаял.

— Валера, прости меня, — причитал он, и слезы падали мне на рубашку. — Валера, я сволочь, я гад. Ты слышишь? Гад я, самый последний.

До моего сознания смутно дошла ночная сцена, но это воспоминание не вызвало во мне никаких чувств, никаких мыслей. Боли не было. Были только холод, ощущение распухшего тела, большого, как дирижабль, и ощущение тяжести.

— Слезь с меня,— сказал я Толику.— Слезь с меня, пожалуйста, мне тяжело.

Мне казалось, что как только он слезет, оболочка моя еще больше раздуется и я полечу легко и свободно к теплому солнцу, которое скоро взойдет.

— Валера, я — гад! — выкрикнул Толик.— Ты слышишь, я — гад! Ты понял меня?

— Понял,— сказал я,— только, пожалуйста, слезь.

Всхлипывая и размазывая рукавом слезы, Толик сполз и поднялся на ноги.

Ощущение тяжести не прошло, не было сил подняться. Тогда я перевернулся спиной вверх, подтянул колени к животу, встал сначала на четвереньки и только после этого смог подняться во весь рост.

Было по-прежнему сыро и холодно. Колени дрожали, расплываясь в разные стороны, не было никаких сил справиться с ними.

Небо заметно бледнело. На его просветлевшем фоне резко чернели четкие контуры Дворца бракосочетания в стиле Корбюзье с шестигранными колоннами, стоявшими как бы отдельно.

Я повернулся и, медленно передвигая ноги, пошел в сторону города с разновысокими коробками домов, в которых не горело еще ни одно окно, потому что было пока слишком рано.

Толик плелся позади меня, шагах в двух.

Мама с бабушкой, увидев меня, пришли в неопиcуемый ужас. Я посмотрел в зеркало и сам себя не узнал. Я испугался, что теперь не пройду комиссию. Впрочем, до комиссии все прошло. Остался только небольшой синяк возле левого глаза.

И вот наступил последний день. Я проснулся, когда на улице было еще темно. Но мама и бабушка уже поднялись. Узкая полоска света лежала под дверью. Там, за дверью, шла тихая суматоха, шаркали ноги и слышались приглушенные голоса. Я прислушался. Разговор шел о моей старой куртке, которую бабушка недавно перешивала. Мама ругала бабушку:

— Ты стала совсем ребенком. Ничего нельзя поручить. Я тебя просила положить куртку в шкаф для белья.

— Именно туда я ее и положила,— сказала бабушка,— это я хорошо помню.

— Тогда где же она?

— Я же тебе говорю: положила в шкаф. И даже пересыпала нафталином.

— Если бы ты положила в шкаф, она бы лежала в шкафу.

Я встал и вышел в соседнюю комнату.

— Что вы ругаетесь? — сказал я.

Бабушка и мама стояли посреди комнаты, а между ними на стуле лежал чемодан с откинутой крышкой.

— Я отдал куртку Толику протирать мотороллер.

— Как отдал? — возмутилась бабушка.

— Очень просто. Все равно носить ее я бы не стал.

— Зачем же я ее тогда перешивала? — грозно спросила бабушка.

— Этого я не знаю,— сказал я.— Я не просил.

— Ну вот, пожалуйста,— сказала бабушка, обращаясь к маме,— плоды твоего воспитания. Полнейшая бесхозяйственность.

— Ну, отдал так отдал,— сказала мама примирительно.— Не будем ругаться в последний день. Только я думала, что в армии она тебе еще пригодится. Там ведь не очень тепло одевают.

— Там бы ее у меня все равно отобрали,— сказал я и пошел в ванную.

Я посмотрел на себя в зеркало. Вид у меня был вполне нормальный. Только под левым глазом остался синяк, совсем небольшой, не больше обыкновенной сливы.

А в то утро все лицо было — сплошной синяк.

Мать хотела, чтобы я снял побои и подал в суд на Грека, но я не стал, не хотелось впутывать Толика, который тоже приложил к этому делу руку, если в данном случае можно так выразиться.

Матери про Толика я ничего не сказал. Зачем?

Я долго стоял под душем, и теплые струи воды обтекали меня. Мне было приятно и грустно и вдруг захотелось остаться дома и никуда не ехать. И я подумал, что, может быть, мне не раз еще захочется жить вот так, ругаясь с мамой и бабушкой, но этого уже никогда не будет, и если меня будут ругать, то не мама, не бабушка, а другие, чужие люди, которым моя судьба, может быть, безразлична.

Когда я вышел из ванной, в комнате царили мир и согласие. Мама перед зеркалом красила губы, а бабушка гладила на столе свою юбку. Чемодан был уже закрыт, а возле него на полу стояла старая хозяйственная сумка.

Она была доверху набита чем-то съедобным, сверху из нее торчала куриная нога.

— Это что такое? — спросил я.

— Это курица, — сказала мама.

— Нет, я спрашиваю вообще, что это за сумка?

— Это мы с мамой, — обернулась бабушка, — приготовили тебе еду на дорогу.

— И вы думаете, что я в нашу Советскую Армию поеду с этой хозяйственной сумкой? Чудаки. Да надо мной вот эти куры, которых вы сюда положили, смеяться будут.

— А что же делать, если в чемодан ничего не влезает? — сказала мать.

— В такой большой чемодан ничего не влезло? А что вы туда положили?

— Самое необходимое. — Бабушка вызывающе поджала губы.

— Сейчас я проверю, — сказал я и открыл чемодан.

Ну и, конечно, я там нашел много интересных вещей. Сверху лежало что-то зеленое. Я взял это двумя пальцами и поднял в вытянутой руке.

— Что это? — спросил я брезгливо.

— Разве ты не видишь? Моя кофта, — невозмутимо ответила бабушка.

— Ты думаешь, я ее буду носить? — спросил я с любопытством.

— А зачем же ты выбросил свою куртку?

— Я не выбросил, а отдал Толику, — сказал я, — но это уже другой вопрос. А я жду ответа на первый. Неужели ты думаешь, что я эту штуку буду носить?

— Ну, а если будет холодно? — вмешалась мама.

— Дорогая мамочка, — сказал я, — неужели ты думаешь, что, если будет семьдесят или даже девяносто градусов мороза и птицы будут замерзать на лету, я надену бабушкину кофту?

Я продолжал ревизию дальше. Кофта в одиночестве пролежала недолго. Скоро над ней вырос небольшой могильный холмик из разных бесценных вещей. Здесь был шарф, лишнее полотенце, две пары теплого

белья, которое я и раньше никогда не носил, и еще маленькая шкатулка с домашней аптечкой — средства от головной боли, от насморка, от прочих болезней.

Бабушка и мама молча наблюдали за производимыми мною разрушениями. Я посмотрел на них и жестоко сказал:

— Вот так все и будет. Вместо всего этого можно положить часть продуктов, но тоже особенно не злоупотреблять, я проверю.

Я ушел к себе в комнату и стал одеваться. Потом мы втроем позавтракали, и мама ради такого торжественного случая выставила бутылку портвейна. Она налила мне целый стакан, а бабушке и себе по половинке. Я выпил весь стакан сразу и стал есть, а мама с бабушкой только выпили, а есть не стали и смотрели на меня такими печальными глазами, что мне стало не по себе, и я тоже не доел свой завтрак, половину оставил в тарелке.

Потом я встал из-за стола и хотел пойти в уборную покурить, но мама поняла меня и сказала:

— Можешь курить здесь. Теперь уже все равно.

Я достал сигарету, закурил, но мне было как-то неловко, я сунул окурочек в коробок со спичками и спрятал в карман. Мы помолчали. Потом мама спросила:

— Если тебе все-таки понадобятся деньги или какие-нибудь вещи, пиши, не стесняйся.

— Ладно, — сказал я. — Только у папы больше не бери.

— Не буду, — вздохнула мама.

Время приближалось к восьми, мы начали собираться. На улице было тепло, но на всякий случай (все-таки осень) мы с мамой надели плащи, а бабушка свое засаленное рыжее пальто, пуховый платок и взяла палку.

— Ну, ладно, — сказала мама, — присядем на минуточку.

И мы присели. Мама с бабушкой на кушетку, а я на чемодан, но осторожно, чтобы не раздавить его. Потом мама посмотрела на часы и встала. И мы с бабушкой тоже встали и пошли к выходу.

В скверике перед вокзалом была уже уйма народу. Они расположились отдельными кучками на траве. Во главе каждой кучки сидел торжественно стриженный новобранец, одетый во что похуже.

Посреди скверика, возле памятника Карлу Марксу, стоял майор с большим родимым пятном через всю щеку, он держал перед собой список и во все горло выкрикивал фамилии. Возле него стояла кучка новобранцев. Я тоже подошел поближе послушать.

— Петров! — выкрикнул майор.

— Есть! — отозвался стоявший рядом со мной длинный парень в соломенной шляпе.

— Не «есть», а «я», — поправил майор.

Он отметил Петрова в списке, и тот отошел.

— Переверзев! Есть Переверзев?

Майор остановил взгляд на мне.

— Важенина посмотрите, пожалуйста, — сказал я.

— А Переверзева нет?

Переверзев не откликнулся.

— Как фамилия? — переспросил майор. Он меня не узнал.

Я повторил. Майор что-то отметил в списке и сказал:

— Ждите.

Лавируя между кучками провожающих и отъезжающих, я пошел к своим.

Проводы были в самом разгаре. В одной кучке пели:

Вы слышите, грохочут сапоги,
И птицы ошалелые летят.
И женщины глядят из-под руки...
Вы поняли, куда они глядят.

В другой орали:

Ой, красивы над Волгой закаты,
Ты меня провожала в солдаты...

Веселая девица, покраснев от натуги, выводила визгливым голосом:

Руку жала, провожала,
Провожала. Эх, провожа-ала...

Рядом с ними сидела самая большая куча, человек в двадцать, и они, заглушая всех остальных, пели «Я люблю тебя, жизнь».

Когда они спели «и надеюсь, что это взаимно», парень с гитарой тряхнул бритой головой, и все хором грянули:

Эх, раз! Еще раз!
Еще много-много раз!
Лучше сорок раз по разу,
Чем ни разу сорок раз!

Я посмотрел на них. Да это же те самые ребята, которых я видел на лавочке, когда ходил на свидание с Таней.

Потом я остановился еще возле одной группы. Там стриженный, перевязанный полотенцами парень наяривал на гармошке что-то частушечное, а толстая деваха плясала под эту музыку, повизгивая, словно ее щекотали.

— Работай! — кричал ей парень с гармошкой.

И она работала вовсю.

Тут меня кто-то окликнул, я обернулся и увидел Толика. Вместе с отцом и матерью он расположился под деревом. На газете у них стояла начата бутылка водки, бумажные стаканы, лежал толсто нарезанный хлеб, помидоры и колбаса.

— Иди к нам, — сказал Толик.

Я подошел. Отец Толика отодвинулся, освобождая мне место.

— Садись, Валерьян, поспрадуем вместе.

— Меня там ждут, — сказал я.

— Подождут, — сказал отец Толика. — Посиди.

Я сел. Отец Толика был одет торжественно, в серый костюм. В боковом кармане у него торчала авторучка и носовой платок, сложенный треугольником. Я сел на траву. Дядя Федя налил полстакана водки и подвинул ко мне:

— Выпей маленько для праздника.

— Какой же сейчас праздник? — сказала мать Толика. — Сына в армию провожаешь.

— Все равно, раз люди пьют, — сказал он, — значит, можно считать, что праздник.

— А вы пить будете? — спросил я.

— Мы уже, — сказал Толик.

Он мог бы этого и не говорить, по его глазам было видно, что он «уже». Честно сказать, мне пить совсем не хотелось. Но отказаться было неудобно, я взял стакан и выпил залпом, а отец Толика смотрел на меня с явным любопытством: посмотрим, дескать, что ты за мужик и как это у тебя получается. А потом схватил разрезанный помидор и прозянул мне. Я хотел выпить, но поморщившись, но меня всего передернуло, и я быстро заел помидором.

У матери Толика глаза были красные — видно, она только что плакала. Сейчас она смотрела то на меня, то на Толика, и было ясно, что ей нас обоих до смерти жалко.

— Бабушка твоя тоже приехала? — спросила она меня.

— Бабушка приехала и мама, — сказал я.

— Мать небось убивается?

— Нет, — сказал я. — А чего убиваться? Не на войну идем.

— Все равно, — сказала она жалко. — Что ж это получается, растишь вас, воспитываешь, а потом вы разлетелись — и нету вас.

Я достал сигареты, протянул сначала отцу Толика.

— Не балуюсь, — сказал он, — и другим не советую. Ты мне вот что скажи, Валерьян. Я в период Отечественной войны тоже служил в ВВС. У нас там никаких самолетов не было, а только продукты. Сало, масло, консервы.

— Опять, — рассердился Толик. — Я же тебе объяснял: ты служил не в ВВС, а в ПФС — продовольственно-фуражное снабжение.

— Мне пора, — сказал я и встал.

— Я тебя провожу, — сказал Толик и встал тоже.

Несколько шагов мы прошли молча. Потом остановились под тополем.

— Валера, — начал Толик, волнуясь и подбирая слова, — ты на меня, наверное, обижаешься, хотя на моем месте...

Все эти дни я думал, как поступил бы на месте Толика, смог бы я или нет поступить иначе. Но в конце концов я понял, что смог бы. И не потому, что такой уж храбрый, а потому, что не смог бы сделать то, что смог сделать Толик.

— Ты понимаешь, — сказал он, — они же меня заставили.

— Да, но ты очень старался, — сказал я.

— Но они бы побили и тебя и меня.

— Ладно, — сказал я. — Поговорим об этом в другой раз.

Что я мог ему объяснить?

Я нашел бабушку с мамой там же, на лавочке. Мне места не осталось; его заняла большая семья, провожавшая детину двухметрового роста с красным распухшим носом на длинном лице. Детина сидел в окружении матери, отца и двух маленьких девочек, должно быть сестер, и плакал, а мать его утешала.

— Игорец, — говорила она, — не ты один, многие идут, надо же кому-нибудь служить в армии. Костя, скажи ты ему что-нибудь, — обратилась она к отцу.

— Я ему уже говорил, — сказал Костя. — Если не хочешь служить в армии, надо было учиться получше.

— Ты где так долго пропадал? — спросила меня мама.

— Толика встретил, — сказал я.

— Опять Толика? Неужели и в армии тебе не удастся встретить кого-нибудь поинтересней?

— Ладно, — сказала бабушка. — Они же все-таки друзья. Столько времени провели вместе. Работали на одном заводе.

В это время на площадь перед вокзалом вышел майор с пятном на щеке и прокричал в мегафон:

— Выходи строиться!

Бабушка схватила свою палку и еще хотела взять чемодан, но я отобрал его.

Те, которые сидели рядом с нами, тоже засуетились. Заплаканный парень вскочил на ноги.

— Подожди, — сказала ему его мать. — Подожди, я тебе вытру слезы, а то неудобно в строй становиться заплаканным. — Она вынула

из сумки платок, вытерла парню слезы и подставила платок к носу.— Высморкайся.

И когда парень начал сморкаться, она посмотрела на него и вдруг сама заплакала громко, навзрыд.

— Ну вот еще, — сказал отец.— Держалась, держалась — и на тебе. Теперь ты еще будешь сморкаться.

Что там у них дальше произошло, я не знаю; мы побежали. Я бежал с чемоданом впереди и оглядывался. Мама и бабушка семенили сзади. Бабушка далеко вперед выкидывала свою палку, а потом как будто подтягивалась к ней.

Нас выстроили спиной к вокзалу в четыре шеренги. Я оказался в середине.

— Равняйся! — скомандовал майор.— Смирно! По порядку номеров рассчитайся!

Мы рассчитались. К майору подошел тучный подполковник в авиационной форме и спросил:

— Ну что, все в порядке?

— Двух человек не хватает,— почтительно сказал майор.

— Надо сделать переключку.

Майор достал из кармана порядком уже измятый список.

— Слушай сюда,— сказал он и начал переключку: — Алексеев!

— Я!

— Алтухин!

— Я!

После каждого ответа майор отрывал взгляд от списка и смотрел туда, откуда доносился голос вызываемого.

Моя фамилия шла следом за фамилией Толика, который очутился где-то в хвосте строя. В строю не оказалось все того же Переверзева и еще одного человека.

— Ну, ладно,— сказал подполковник,— больше ждать некогда. Разбейте людей на команды и грузите в вагоны.

Майор отсчитал сколько-то там человек, потом протянул руку, как бы отсекая часть строя, и скомандовал:

— Эта группа напра-во! Десять шагов вперед шагом марш!

Вторая группа сделала восемь шагов, третья, в которой был я,— шесть. Потом каждой группе выделили по сержанту. Нам достался толстый, здоровый парень, у него на груди было несколько значков.

Он, выпятив грудь вперед, гоголем прошел перед нашим строем, внимательно оглядел впереди стоящих. Потом отошел на два шага назад и изрек:

— Наша группа будет называться рота, так мне привычней. Ясно?

— Ясно! — заорали мы хором.

— Наша рота будет занимать третий вагон. Ясно?

— Ясно!

— В вагоне не курить, курить только в тамбуре. Ясно?

— Ясно!

— Все,— сказал сержант.— Какой порядок езды будет, кто дневальный, кто дежурный — решим на месте.— Он вдруг напрягся, вытянул шею из воротника с целлулоидным подворотничком и скомандовал: — Напра-у! Шагом арш!

И мы пошли. Не в ногу, конечно, а кто как сумел. А родители наши шли сбоку и все кричали одно и то же: чтобы мы за собой следили, чтобы писали письма.

Мама тоже умоляла меня писать чаще. За ней шла бабушка и ничего не говорила, только бодро взмахивала палкой.

Сержант привел нас на перрон. Здесь стоял уже готовый состав с прицепленным к нему тепловозом. Я думал, что состав будет товарный, а он оказался нормальным пассажирским, только из старых вагонов, таких, какие ходят у нас на пригородных линиях. Сержант приказал организованно занять в вагоне места, но никакой организованности не получилось, все торопились занять там места получше. Я тоже торопился, но недостаточно, и поэтому мне досталась боковая верхняя полка. Но мне, в общем-то, было почти все равно. Я забросил свой чемодан на полку и снова выбрался на перрон.

Бабушка и мама стояли спиной к продуктовому киоску, жалкие и одинокие. Я посмотрел на них — сердце сжалось.

— Ну что вы раскисли? — сказал я. — Радоваться должны. Наконец-то избавитесь от шалопаю.

— Да, конечно. — Мама хотела улыбнуться, но из этого у нее ничего не получилось. Губы у нее вдруг задергались, она отвернулась к киоску и заплакала. Бабушка посмотрела на маму и тоже отвернулась к киоску.

— Эх вы, нюни, — сказал я. — Что ж это вы от меня отвернулись? И что мне теперь из-за вас, дезертировать, что ли? И чего вы ревете? Я же вот не реву. А если хотите, я тоже.

И я стал делать вид, что реву, хотя мне хотелось зареветь на самом деле. А может быть, я и на самом деле ревел, а только думал, что делаю вид. Но все-таки я их немножко успокоил. Мама повернулась ко мне, улыбнулась и сказала:

— Не обращай внимания. Мы же с бабушкой женщины, и нам иногда можно немного поплакать.

Потом мы стояли и молчали, и я думал, что надо сказать, может быть, что-нибудь очень важное и значительное, но ничего такого придумать не мог, и мама с бабушкой тоже ничего не могли придумать. Они стояли и смотрели на меня, а я на них смотреть не мог и озирался по сторонам, лишь бы на них не смотреть.

Недалеко от нас в окружении всей своей родни стоял тот самый парень, который плакал там, в сквере, но теперь он уже не плакал, а улыбался и, размахивая руками, что-то рассказывал матери и отцу, и мать тоже улыбалась, а отец слушал его хмуро и невнимательно. Во всяком случае мне так показалось, что невнимательно. А возле вагона стоял парень, который играл на гитаре, но теперь он был без гитары (наверное, оставил в вагоне). Возле него тоже стояли родители, маленькие пожилые люди, и еще чуть в стороне стояла красивая девушка — наверное, невеста, а может, даже жена. Она так стояла потому, что, наверное, считала, что у родителей сейчас больше прав на парня, а она отчасти вроде бы и лишняя, но если бы она была совсем лишняя, то, вероятно, ушла бы, но она не уходила — значит, лишней себя не считала. А может, считала, что если вот так будет стоять в самых ответственных случаях, то когда-нибудь обязательно станет не лишней: в общем, я не знаю, что там она себе думала, я сам об этом не успел додумать до конца, потому что в это время из вокзала вышел дежурный в красной фуражке и ударил в колокол.

И тут по радио раздался голос:

— Товарищи призывники, начальник эшелона подполковник Белов просит вас занять свои места в вагонах. Повторяю: товарищи призывники...

А из вокзала вышел майор с родимым пятном на щеке, он сказал что-то в мегафон, но, видимо, мегафон испортился, потому что ничего не было слышно. Тогда майор зажал мегафон под мышкой, сложил ладони рупором и уже без всякой механизации крикнул:

— По ваго-онам!

И сержанты, которые стояли возле каждого вагона, тоже стали кричать:

— По вагонам! По вагонам!

Но никто сразу и не пошевелился, и тогда сержанты стали тормозить отъезжающих и провожающих. И наш сержант подошел к нам и сказал маме и бабушке:

— Мамаши, команду слышали? Прощайтесь.

И мы стали прощаться. Мама меня обняла и прижалась ко мне, и я первый раз в жизни заметил, что она совсем маленькая. А она меня обхватила руками и не хотела отпускать, и в конце концов мне пришлось тихонько от нее освободиться, потому что я думал, что не успею проститься с бабушкой.

— Не забывай, пиши,— сказала мама, отпуская меня.

— Конечно, буду писать,— сказал я.— Раз в неделю обязательно напишу.

Бабушка тоже, когда я ее обнимал, показалась мне маленькой и сухонькой, и только сейчас я подумал, что она ведь совсем уже старенькая, что, может быть, я больше ее никогда не увижу. Так оно в конце концов и получилось, но тогда я еще не знал, что так получится, но подумал, что может так получиться.

Опять подошел сержант и сказал:

— Хватит прощаться, сейчас отправляемся.

Я пошел задом к вагону и все смотрел на маму и бабушку, а они шли за мной. И только я залез в тамбур, как прогудел тепловоз, наш состав тронулся. Сразу вся толпа провожающих кинулась за составом, и все заревели так, будто весь наш поезд направлялся прямо на кладбище.

А мама с бабушкой мне махали руками и махали, и я им махал тоже, а потом их заслонили другие лица, а я все равно махал в надежде на то, что они видят хотя бы мою руку. И тут я увидел отца. Он, видимо, только что прибежал на перрон и в одной руке у него был какой-то сверток. И я ему крикнул:

— Папа!

Он услышал мой крик, вскинул голову и стал растерянно пробегать глазами по вагонам, но он смотрел все не туда, и я крикнул ему:

— Я здесь!

Он меня так и не увидел и стал на всякий случай махать свободной рукой и крутил головой, пытаясь разглядеть меня в пробегающих мимо вагонах.

Так вот и кончилась моя предармейская жизнь. Но прежде, чем поставить точку, мне хочется еще рассказать об одной встрече с Толиком, которая произошла у меня через год после событий, которые я здесь описал.

Первые два месяца мы служили вместе, вместе проходили курс молодого бойца, вместе принимали присягу.

А потом нас разослали по разным частям, и хотя служили мы по-прежнему в одном гарнизоне, но уже не виделись совершенно. Как-то не получалось. Да и желания особого лично я не испытывал. Может, у нас и раньше дружбы особой не было, а мы считали — была, потому что не знали, что такое настоящая дружба.

Придя в армию, я не оставил мысли о летном училище, писал во все инстанции рапорты и заявления, но прошел год, прежде чем мне удалось добиться положительного ответа.

И вот в один прекрасный день я вышел за ворота части со своим небольшим чемоданом. В кармане у меня лежало направление в училище, воинское требование на железнодорожный билет и кормовые деньги — восемьдесят шесть копеек, которые я получил в финчасти.

Погода была паршивая. Грязные облака тянулись над самой землей, едва не задевая за верхушки деревьев. Иногда начинал накрапывать дождь и тут же переставал. Я был в шинели, но в пилотке, потому что приказа о переходе на зимнюю форму одежды еще не было.

Я пришел на вокзал за три часа до отправления поезда, взял билет и пошел бродить по городу. Город этот был большой, больше того, в котором я жил до армии, но он мне не нравился, может быть, не потому, что он был хуже моего города, а потому, что был он совсем для меня чужой. Я бродил по нему, держа чемодан в правой руке, чтобы не козырять офицерам, которых здесь было полным-полно. А потом устал, зашел на какой-то бульвар и сел отдохнуть. Напротив меня на лавочке два пенсионера, посинев от холода, играли в шахматы. Я сначала наблюдал за ними, а потом отвлекся и стал думать о своей жизни, о том, что произошло со мной за все это время. И вдруг над самым моим ухом оглушительно рявкнул знакомый голос:

— Почему не приветствуете?

Я моментально вскочил, инстинктивно потянул руку к пилотке и увидел перед собой счастливую рожу Толика.

— Вот дурак тоже еще! — рассердился я. — Ты откуда свалился?

— С луны, — сообщил Толик.

Я оглядел его с ног до головы. Вид у него был довольно странный. На нем, так же как и на мне, были шинель, сапоги и пилотка, но в руках он держал авоську, из которой торчали хлеб, сгущенное молоко и еще какие-то продукты.

— Что это у тебя такое? — спросил я.

Толик смутился.

— Да вот жена за продуктами послала?

— Разве у тебя есть жена?

— Да не моя жена — генерала. — И видя, что я ничего не могу понять, заторопился с объяснением: — Я сейчас, понимаешь, служу ординарцем у генерала. Я сначала был в клубе художником. А потом меня сократили. А тут генерал как раз. «Нет ли, говорит, у вас лишнего солдата, мне ординарец нужен». А ему говорят: «Есть, у нас как раз художника сократили». Ну и вот, с тех пор я у него служу. Ну, служба, конечно, сам понимаешь, подай-принеси. А вообще-то не тяжелая. Ни физзарядки, ни строевой, ни подъема, ни отбоя. Пол подмел, посуду помыл — и свободен. Пиво пью каждый день. Ну, конечно, в смысле денег маловато. Из магазина придешь, жена всю мелочь пересчитывает. Почем картошку брал, почем помидоры — все пересчитает. Если куда зачем надо съездить, дает на трамвай. Три копейки туда, три — обратно. Ну, а я другой раз на троллейбусе проеду или на автобусе. Приходится свои доплачивать. А откуда взять свои? Ну, бывает, из дому пятерочку подкинут или гонорар получишь. Вот и все.

— Какой гонорар? — удивился я.

— Вот тебе на! — удивился Толик еще больше. — Да ты разве не знаешь?

— Нет, — сказал я.

— Я же стихи сочиняю. В нашей в окружной газете уже три стиха напечатал. Хочешь, расскажу?

— Валяй, — разрешил я, все еще не веря.

— Ну, слушай, — сказал Толик. Он поставил авоську на скамейку

рядом со мной, а сам отошел на шаг, встал в позу и вытянул вперед правую руку.— «Старшина» называется.

Наш старшина — солдат бывалый,
Грудь вся в орденах
Историй знает он немало
О боевых делах.

Он всю войну провоевал,
Знаком ему вой мин.
Варшаву он освобождал
И штурмом брал Берлин.

Расскажет как-нибудь в походе
Военный эпизод.
И станет сразу легче вроде,
Усталость вся пройдет.

Наш старшина — пример живой
Отваги, доблести, геройства.
Он опыт вкладывает свой,
Чтоб нам привить такие свойства.

Толик читал стихотворение, размахивая рукой и завывая, как настоящий поэт. А потом посмотрел на меня с видом явного превосходства и спросил:

— Ну как?

— Это ты сам написал? — спросил я.

— Ну а кто же? — обиделся Толик.— У меня их много. Хочешь, еще расскажу?

— Нет, не надо,— сказал я.— Только это все как-то неожиданно.— Я был в самом деле растерян.

— Нет, ты скажи: вообще понравилось или нет?

— Ты просто гений,— сказал я почти искренне.— Я даже и не думал никогда, и не подозревал. И давно ты занимаешься этим делом?

— Давно,— вздохнул Толик.— Помнишь, мы еще когда работали на заводе, шли на работу и ты мне читал стихи?

— «Анчар»?

— Ну да. Вот с тех пор я и пишу. Сперва нескладно получалось, рифму никак не мог подобрать. А теперь вроде что-то выходит. Я понимаю, что это еще только первые шаги, но я поучусь, я упорный. Уже прочел статью Маяковского «Как делать стихи» и Исаковского «О поэтическом мастерстве». Начал изучать Добролюбова.

Я был просто поражен. Для меня это был гром с ясного неба. Я посмотрел на него пристально и неожиданно в лоб спросил:

— Слушай, а что, если мы с тобой вдруг проваливаемся сквозь землю и перед нами...

— Что? — быстро спросил Толик.

— Ничего,— сказал я.— Я хотел проверить — ты это или не ты.

— Ну и как? — поинтересовался Толик.

— Никак,— сказал я.— Я хотел бы, чтоб ты провалился и нашел кучу золота.

— Это было б здорово,— сказал Толик искренне.— Я бы тогда знаешь что сделал?

— Знаю. Купил бы «Москвич» с ручным управлением.

— Зачем же с ручным?— обиделся Толик.— Что ж я—безногий?— Он помолчал.— А ты чего с чемоданом? В отпуск, что ли?

— В летное училище,— сказал я.

— Зря,— сказал Толик.— Ненадежное это дело. Хотя и деньги хорошие, и все, но ведь работа опасная.

— Ну, ладно.— Я встал.— Мне пора.

— Постой,— сказал Толик. Он стоял и раскручивал авоську сперва в одну сторону, потом в другую.— Я вот часто думал про тот случай возле Дворца... Конечно, мне неприятно, что так получилось...

— Да уж приятного мало,— согласился я.

— Да, мало,— сказал Толик.— Но для тебя так было лучше.

— Интересно! — Я был искренне удивлен.— Это еще почему?

— Они бы тебя били сильнее,— сказал он, глядя мне прямо в глаза.

Это была уже философия. Потом я встречался с ней при иных обстоятельствах, слышал примерно те же слова от других людей, торопившихся сделать то, что зря столько лет были сделал бы кто-то.

— Ладно,— сказал я.— Чего уж тут говорить.

В правой руке у меня был чемодан, Толик в правой руке держал авоську. Я повернулся, чтобы идти, но Толик не пустил. Он забежал вперед и загородил мне дорогу.

— Слышь,— жалобно сказал он, перекладывая авоську в левую руку.— Слышь... Значит, до свиданья. Может, еще увидимся как-нибудь или спешимся. Все же не зря столько лет были друзьями.

Он протянул вперед руку и ждал. Я поставил чемодан на землю. Он набросился на мою руку с жадностью и невыносимо долго тряс ее.

— Слышь, Валера, не забывай,— говорил он.— Знаешь, в жизни все может быть, а дружба остается дружбой. Может, еще и пригодимся друг другу. Ты же мне вроде брата, дороже отца-матери...

В конце концов я освободился и пошел дальше. Пройдя немного, я обернулся. Толик стоял посреди дороги со своей дурацкой авоськой и раскручивал ее сперва в одну сторону, потом в другую. Увидев, что я обернулся, он поспешно заулыбался и стал ожесточенно махать рукой. Я не выдержал, поднял руку и сделал такой жест, как будто помахал ему ответно и в то же время как будто не помахал. Но скорее всего этот жест мог означать, что, мол, ладно уж. Чего уж там. Что было, то было.

